

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://nabokovvladimir.ru/> Приятного чтения!

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков
[1]

О Владимире Набокове

Многое в этой книге поразит читателей необычностью и новизной. Когда-то в конце 20-х годов Бунин, познакомившись с романами молодого Набокова, отозвался о нем так:

«Этот мальчишка выхватил пистолет и одним выстрелом уложил всех стариков, в том числе и меня...»

С тех дальних времен много говорят и спорят о загадке Набокова, о феномене его стиля. По-разному оценивают его наследие. Имя Набокова тем не менее известно во всем мире, он давно и безусловно признан первоклассным мастером не одной, а двух литератур – русской и американской. Сегодня мы получили возможность сами узнать, понять и оценить Набокова. Его произведения выходят в советских издательствах большими тиражами. В 1989 году издательство «Детская литература» выпустило книгу «Аня в Стране чудес», представляющую собой своеобразный перевод Набоковым сказки английского писателя-Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Настоящий сборник стихотворений и рассказов Набокова продолжает знакомить юных читателей с его творчеством.

Владимир Набоков родился в Петербурге в 1899 году. Его отец, Владимир Дмитриевич Набоков, был государственным деятелем, известным своими либеральными взглядами. Дед, Дмитрий Николаевич, служил министром юстиции. Прадед, Николай Александрович, – мореплаватель и ученый, совместно с Литке и Врангелем совершил плавание на Новую Землю, открыв там реку, названную затем его именем. Его брат, Иван Александрович, – герой Отечественной войны 1812 г. Мать Владимира Набокова, Елена Ивановна, была дочерью Ивана Васильевича Рукавишников, известного мецената. Купив под Петербургом, в селе Рождествено, прекрасный усадебный дом, принадлежавший некогда екатерининскому вельможе графу Безбородко, Рукавишников построил в селе школу для крестьянских детей, больницу-амбулаторию и даже крестьянский театр. Дом, старый парк и здание школы дожили до наших дней.

Детство Набокова прошло в Петербурге и в дачных усадьбах Выра, Батово, Рождествено – близ Сиверской, в шестидесяти девяти верстах южнее столицы. Природа этой дачной местности отличается редкой красотой, недаром ее называли «русской Швейцарией». Ожерелье прекрасных парков и усадеб было рассыпано в этом краю. Здесь жили декабрист К. Ф. Рылеев (Батово), семья предка Пушкина А. П. Ганнибала (Воскресенское, близ Суйды), художники Н. К. Рерих (Извара), И. Н. Крамской (Сиверская). Красные песчаные берега прозрачной реки Оредежь, вьющейся как бы в обрамлении елового бора, красота окружающих ее полей и тенистых рощ и лесов запечатлена на полотнах И. И. Шишкина и К. С. Петрова-Водкина. В деревне Кобрينو до сих пор стоит домик няни Пушкина Арины Родионовны.

С 1911 по 1916 год Набоков учился в Петербурге, в Тенишевском училище на Моховой улице. В этот период он начал писать стихи. Первая книжка – сборничек юношеских стихотворений – вышла в 1916 году – тиражом 500 экземпляров. Вторая книжка стихов – альманах «Два пути» (совместно с А. Балашовым) – была издана в 1918 году. В конце 1917 года семья Набоковых оказалась в Крыму, а в апреле 1919 года эмигрировала в Германию.

Набоков учился в Англии, в Кембриджском университете, изучал историю, французский и русский языки и литературы. По окончании университета в 1922 году жил в Берлине, нуждался, давал уроки русского и английского языков, а также тенниса. Берлинские газеты и журналы печатают его прозу и стихи, а также шахматные задачи, крестословицы (так он называл кроссворды). В 1937 году Набоков с женой и сыном едут в Париж, так как, по его словам, в Берлине «из всех открытых окон доносился хриплый рев диктатора» и нельзя было избавиться от «вездесущего портрета фюрера». В 1940 году Набоковы переезжают в США.

Еще в Европе Набоков утвердил себя как один из выдающихся литераторов русской эмиграции. Здесь им написаны многие русские романы, в их числе «Машенька» (1926), «Защита Лужина» (1930), принесящий ему славу. Вот как вспоминает об этом романе русская писательница Нина Берберова:

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru «Я села читать эти главы. <...> Огромный, зрелый, сложный современный писатель был передо мной, огромный русский писатель, как феникс, родился из огня и пепла революции и изгнания».

Кроме этих, Набоковым в Европе были написаны еще шесть романов, среди них «Дар», «Приглашение на казнь»; многочисленные рассказы, драмы и, конечно, стихи (сборники «Гроздь», «Горный путь», «Возвращение Чорба»), Занимался он и переводом произведений английских и французских поэтов (Руперт Брук, Байрон, Китс, Рембо, Мюссе). В США Набоков преподавал русский язык и литературу сперва в Уэллеслианском колледже и одновременно проводил исследования по энтомологии в Гарвардском зоологическом музее. Затем с 1948 до 1959 года он – профессор Корнеллского университета.

После переезда в США Набоков пишет преимущественно на английском языке и постепенно приобретает известность как американский писатель. По-английски им написаны автобиография «Speak, Memory» («Говори, память»), романы «Лолита», «Пнин» и другие, а также рассказы и стихи. До середины 60-х годов Набоков много переводит, главным образом с русского языка, и выбор свой, как увидим, останавливает на самых значительных явлениях отечественной литературы. В 1945 году отдельным изданием вышла книга «Три русских поэта», содержащая восемнадцать стихотворных переводов на английский язык из Пушкина, Лермонтова и Тютчева. В 1958 году в Нью-Йорке был издан перевод «Героя нашего времени» Лермонтова (совместно с сыном Дмитрием Набоковым). В 1960 году там же выходит перевод «Слова о полку Игореве», а в 1964 году – плод многолетних трудов: прозаический, необычайно точный перевод на английский язык «Евгения Онегина» Пушкина и двухтомный комментарий к нему. Набокову также принадлежат переводы на английский язык многих собственных произведений, прозаических и поэтических.

С 1959 года Набоков жил в Швейцарии, в курортном городке Монтрё, близ Женевы. Там он умер 2 июля 1977 года.

В Россию Набоков при жизни так и не вернулся. Детские и юношеские впечатления сделались единственной нитью, связывавшей его с утраченной родиной. С годами они не тускнеют, а, напротив, обретают яркость, становятся животворными корнями удивительного таланта писателя. В поэме «Детство» он признается, что вся его последующая жизнь – это сон, сон ребенка. Ожидание проснуться у себя дома, вообще, тема Дома становится у Набокова очень значительной, если не основной. Дома осталось счастье – «...вот оно:/сырой дороги блеск лиловый;/по сторонам то куст ольховый,/то ива; бледное пятно усадьбы дальней...». Счастье видится в снах («Сны», «Расстрел»), конечно же, в снах о России. Наверно, поэтому писатель за всю свою жизнь так и не обзавелся собственным домом, живя в наемных квартирах и отелях. Истинный Дом для него остался в России.

Стихи Набокова о детстве говорят о первой встрече ребенка с миром, частицах этого мира, вырванных из уносящегося потока времени. Окликнутые двумя-тремя ритмическими фразами, они останавливаются, поворачиваются лицом к читателю – и каким милым, живым, родным лицом! Здесь и пробуждение в петербургском доме, и зимние прогулки по «серебряному раю» – Юсуповскому саду, и игры, и рисование, превращающееся в сказку: «фарфоровые соты синий,/зеленый, красный мед хранят». В этих стихах присутствуют и болезни: «...и в детской сумрачно горит/рождественская скарлатина/или пасхальный дифтерит...», и визит к зубному врачу, и весенняя охота за бабочками, интерес к которым растянется на всю жизнь, превратив Набокова в крупного энтомолога – специалиста по чешуекрылым; его именем будет названа одна из их прелестных представительниц.

Наряду со стремлением к возвращению домой, с годами становящемуся все более несбыточным, у Набокова появляется возможность обладать идеальным образом Дома, который в его стихах, рассказах и романах живет собственной и, благодаря удивительному таланту писателя, полнокровной и истинной жизнью. Устами героя одного из своих романов Набоков признается, что «увез с собой от нее (России). – А. Д. Т.) ключи». При этом как в его прозе, так и в стихах проявляется и крепнет способность тайного узнавания черт любимого образа. В морском прибое слышится ему «шум тихий родины моей» («Тихий шум»), а ночной европейский полустанок обрастает милыми сердцу подробностями железнодорожной станции под Петербургом – «...чернеющий навес, и мокрая скамья,/и станционная икона...» («В поезде»).

Упоминание об увезенных ключах не следует, конечно, понимать буквально. Те ключи открывали не замок, на который долгие ледяные десятилетия была заперта советская

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru граница. Те ключи были прежде всего – от русского языка. Набоков с особой глубиной ощущал красоту, силу, богатейшие выразительные возможности родного языка. С трепетной любовью относился мастер к своему сокровищу:

Тебе, живой, тебе, моей прекрасной –
вся жизнь моя, огонь несметных свеч.
Ты станешь вновь, как воды, полногласной,
и чистой, как на солнце меч,
и величавой, как волненье нивы...
Так молится ремесленник ревнивый
и рыцарь твой, родная речь!

«Молитва»

Набоков-писатель – творец особого мира, созданного его воображением. Он волен распоряжаться этим миром, его героями, «своими представителями» по личному усмотрению. Конечная цель – увековечение творческой личности, победа над забвением и смертью. И память художника – главный его помощник в осуществлении этой цели. Она – сокровищница, откуда он черпает материал для своего «нерукотворного памятника».

Набоков щедро, широко, с виртуозной изобретательностью рассыпает самого себя – весь тот нескудеющий духовный запас, которым он владеет, – в своих сочинениях, прозаических и поэтических. Происходит величайшая отдача: все то, чем он был вскормлен и напоен в годы детства и юности, преобразуется в высокое искусство. В чем-то проза Набокова напоминает его родную реку Оредежь. Чистая вода живого языка, «драгоценные мелочи» русского пейзажа, неожиданные повороты русла... «Драгоценным и опытным» взглядом соединены в его рассказах великолепные описания природы – зимнее утро в деревне, длинный летний день, ландшафт, пробегающий мимо окна вагона, – и психологический рисунок человеческой души: обида, страдание, любовь.

Наиболее очевидным представителем автора служит герой двух его рассказов – «Обида» и «Лебеда» – мальчик Путя Шишков. Он нарисован в обстановке городского дома его отца (в рассказе описан дом № 47 на бывшей Морской улице, ныне улице Герцена в Ленинграде), а также в имении под Петербургом, в описании которого легко различимы черты Рождествена и Выры.

Всему окружению Пути, его сверстникам, воспитателям и домашним придан облик реально живших людей. Автор тщательно, бережно, подчас с мягкой иронической усмешкой передает атмосферу своего уникального, незабываемого детства, того далекого времени, «чей длинный луч находит так много изобретательных способов достичь меня», – напишет позже Набоков.

Помимо непосредственного обращения к впечатлениям детства и юности, тематика набоковских рассказов включает тему Германии и немцев, навеянную жизнью в Берлине. Берлин предстает перед читателем, как унылый, мрачный город, подернутый налетом пошлости и искусственности. Он и его обитатели воспринимаются Набоковым как фон, на котором движутся многочисленные герои его рассказов – выходцы из России. Автору эта страна и этот город навязаны силою обстоятельств, он не хочет иметь с ними ничего общего, но в то же время наблюдает их, как бы превращаясь в огромный внимательный глаз. Вот трамвай («Путеводитель по Берлину»). Писатель видит в нем машину, обреченную на исчезновение. Возможно, вид трамвая напоминает Набокову Петербург. Он подробно описывает внешний вид кондуктора-немца, выдачу билетов, сам вагон. Происходит запечатление уходящего, ускользающего... Здесь же писатель признается:

«Мне думается, что в этом смысл писательского творчества: изображать обыкновенные вещи так, как они отразятся в ласковых зеркалах будущих времен, находить в них ту благоуханную нежность, которую почуют только наши потомки в те далекие дни, когда всякая мелочь... станет сама по себе прекрасной и праздничной...»

Трагическое звучание приобретают два «берлинских» рассказа Набокова: «Королек» и «Облако, озеро, башня». В рассказе «Королек» одинокий жилец большого, мрачного дома – Романтовский – вызывает ненависть братьев Густава и Антона лишь тем, что он не похож на окружающих. Братьям было «ненавистно все то, что нельзя тронуть, взвесить, сосчитать». И, начав с мелких истязаний, они кончили тем, что убили соседа, оказавшегося на поверку фальшивомонетчиком, на жаргоне – «корольком».

Герой рассказа «Облако, озеро, башня» – Василий Иванович, русский эмигрант,

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru скромный человек, холостяк. Автор называет его своим «представителем»; так оно в известной мере и есть: Василий Иванович признается в любви к своему детству, к русской поэзии, к русской природе; по воле своего «хозяина» он едет в увеселительную поездку, надеясь, что «она принесет ему вдруг чудное, дрожащее счастье, чем-то схожее с детством». И вот Василий Иванович видит наконец то, что считает самым прекрасным: озеро с отраженным в нем облаком и башню. Он мечтает навсегда остаться в том месте, где открылась ему долгожданная красота и «неподвижное и совершенное сочетание счастья». Но действительность обрывает эти мечты: ведь Василий Иванович путешествует не один; его спутники – немцы, их девять человек. Все они составляют прообраз гитлеровской Германии: вожак, то есть официальный представитель власти, – грубая, тупая сила; изощренный мерзавец Шрам, идеолог, – гестаповец; служащие строительной фирмы с одинаковой фамилией Шульц и две девушки с одинаковым именем Грета – олицетворение безликой, гогочущей массы, опоры фашистского государства. Вдова в спортивной юбке, похожая на предводителя, – его правая рука. Наконец, представители старшего поколения, чиновник с супругой, так сказать, люди, породившие эту молодежь. Это он, бывший фельдфебель, воевал в России под Царицыном в 1919 году, теперь же, в 1937-м, он выступает исполнителем воли вожака. Все они тесно спаяны воедино, это одно существо, огромная жестокая машина, от которой нормальному человеку некуда деться. Рассказ кончается тем, что, растерзанный духовно и физически, Василий Иванович отказывается от должности, умоляет «отпустить» его, говорит, что «больше не может, что сил больше нет быть человеком». Автор отпускает его в небытие, откуда он и был взят. Так автор лишается своего спутника, частицы своей души, что-то в нем самом умирает, остается лишь ощущение удаляющегося сияния за спиной.

Еще одним «представителем» автора является Василий Шишков из одноименного рассказа (последнего русского рассказа, написанного Набоковым в 1939 году, перед отъездом в США). Шишков – поэт, и поэт хороший, его мучит пошлость окружающей жизни, он полон сил и жажды деятельности. Он страдает, когда уясняет себе, что из его идеи одолеть пошлость при помощи журнала, который призван ее клеймить, ничего не получилось; он не видит для себя выхода, деться ему некуда, покончить с собой – противно. Остается один путь – «исчезнуть, раствориться», так чтобы после него остались стихи, которые явятся «необычной гробницей». Не так ли и сам Набоков прощается с русской поэзией, а шире – с Россией. Однако он, как и его герой, не в силах сдержать горькое сомнение: разглядит ли будущий читатель то, чем он жил, чем насытил свои произведения?

Рассказ «Совершенство» также изобилует автобиографическими подробностями. Герой его – Иванов – русский эмигрант, живущий в Берлине, бедный учитель, он сопровождает своего ученика на балтийский морской курорт. Иванов – обыкновенный человек, каких тысячи, о чем свидетельствует его фамилия, – мечтает о том, чтобы познать сущность вещей, проникнуть и в смысл природы, и в человеческую душу. Однако между человеком и миром стоит преграда, некое невидимое глазу стекло:

«Его мысль трепетала и ползла вверх и вниз по стеклу, отделявшему ее от невозможного при жизни совершенного соприкосновения с миром».

После смерти – Иванов гибнет (бросается в воду в костюме и очках), спасая своего воспитанника, – стекло это исчезает, как слетают очки, душа его отделяется от тела и оказывается по ту сторону стекла. Наконец наступает то «совершенное соприкосновение с миром», о котором мечтал Иванов, и его освобожденная душа парит не над частью, а над всем Балтийским морем, то есть и над берегом его детства. После смерти героя душа получает ответы на все мучившие его вопросы. В этом рассказе содержится важная для Набокова мысль: он верит в способность духа высвободиться из своей физической оболочки, парить над ней, соприкоснуться с Истиной. После смерти – так считал писатель – наступает иной, нам неведомый отсчет времени, происходит непостижимое при жизни человека таинство, первый этап которого – удаление стекол-перегородок, прозрение, переход, погружение в иной мир – в «простоту совершенного блага».

«Длинной вечерней тенью истины» называл Набоков память. Это – инструмент творца, что подтверждает, например, рассказ «Круг», воскрешающий юношескую любовь героя. Прелесть рассказа еще и в необычном построении: начало является закономерным продолжением концовки, а действие идет по кругу, даря читателю мысль о том, что все проходит, кроме памяти и любви.

В современном обществе имеет хождение невеселая поговорка: «Чудес на свете не

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru бывает». Читая Набокова, мы находим тому радостное опровержение. Так, в рассказе «Занятой человек» приснившееся предсказание о смерти чуть было не выполняет шальная пуля, но зато сосед неожиданно оказывается личным ангелом-хранителем, успешно хлопочущим за своего подопечного. «Изыминкой» рассказа служит то, что связь господина Энгеля (по-немецки Engel – ангел) с высшими силами происходит с помощью земного телефона и телеграфа. Автор с тонкой улыбкой показывает этим примером: чудо рядом с нами, его мистическая тень пронизывает обыденную жизнь, серенькие будни.

С большой глубиной эта тема разработана в рассказе «Рождество», действие которого происходит в России, в деревне. Этой деревне автор придает точные черты отцовского имения в Выре. Есть в рассказе описание фамильного склепа деда Набокова по матери И. В. Рукавишника в Рождествене. Герой рассказа – Слепцов – владелец дома, он перевозит гроб с телом своего сына-подростка из Петербурга в деревню. Слепцов остается один во флигеле, откуда видна сельская церковь:

«...над белыми крышами придавленных изб, за легким серебряным туманом деревьев, слепо сиял церковный крест».

Герой переживает крайне напряженный, трагический момент своей жизни – он только что похоронил сына. Невозможность вернуть его пронзает Слепцова острой болью, он приходит в отчаяние:

«...ему показалось, что до конца понятна, до конца обнажена земная жизнь – горестная до ужаса, унизительно бесцельная, бесплодная, лишенная чудес...».

И в это время происходит чудо: согретая теплым воздухом – в доме протопили печи – из кокона, найденного в коробке умершего мальчика, является на свет прекрасная тропическая бабочка. Автор с мягким сочувствием указывает человеку с фамилией Слепцов на его душевную слепоту – ведь эта «понятность», «бесплодность» жизни, которую он ощутил, есть на самом деле заблуждение. Человеку явлено чудо рождения, таинственное и прекрасное, чудо Рождества (действие рассказа происходит в рождественскую ночь). Слепцов же «слеп», и крест на сельской церкви сияет ему «слепо».

Прозу Набокова можно сравнить с мозаичными узорами калейдоскопа. Перед художником – кусочки жизни, «драгоценные мелочи». Как из цветных стеклышек, складывает он из них узоры. Поворачивается волшебный калейдоскоп – и возникает невиданный узор – сияющее произведение. Тема «узоров», «игры в узоры» сопрягается у Набокова с мастерством составления шахматных задач, чем он увлекался многие годы. «В этом творчестве, – писал он, – есть точки соприкосновения с сочинительством». Шахматную задачу он называл «созвездием», «планетариумом мысли», «оледенелым озером времени». Чем же так занимательна для людей выдумка, «игра в узоры»? Почему она становится делом жизни, любимой профессией, смыслом существования, а плоды этой игры, одеваясь в переплет, превращаются в сокровища? Ответ на эти вопросы лежит в духовной области и связан с актом творения новой, художественной реальности – с единственным видом человеческой деятельности, имеющим не земные, а «небесные» корни. Именно творчество делает человека сопричастным Творцу, дает ему власть над пространством и временем, способность видеть мир по-новому – и самому творить его. На суть творчества – прорыв за пределы видимого мира прямо указывает Набоков в стихотворении «Как я люблю тебя»:

.....есть в этом
вечернем воздухе порой
лазейки для души, просветы
в тончайшей ткани мировой.

Мы являемся свидетелями возвращения на родину целого пласта русской литературы, ценнейшего культурного наследия, Представленного такими именами писателей русского зарубежья, как Е. Замятин, В. Ходасевич, А. Ремизов, И. Шмелев и другие. В их ряду одно из первых мест занимает Владимир Набоков. Эта животворная влага еще способна восстановить плодородие истерзанной нивы русской культуры и заполнить тот духовный вакуум, в котором оказалось несколько поколений наших соотечественников.

А. Д. Толстой
СТИХОТВОРЕНИЯ
Дождь пролетел

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Дождь пролетел и сгорел на лету.
Иду по румяной дорожке.
Иволги свищут, рябины в цвету,
Белеют на ивах сережки.
Воздух живителен, влажен, душист.
Как жимолость благоухает!
Кончиком вниз наклоняется лист
И с кончика жемчуг роняет.
<Выра, (май) 1917>

Детство

Поэма

I

При звуках, некогда подслушанных минувшим, –
любовью молодой и счастьем обманувшим, –
пред выцветшей давно, знакомою строкой,
с улыбкой начатой, дочитанной с тоской,
порой мы говорим: ужель все это было?
И удивляемся, что сердце позабыло,
какая чудная нам жизнь была дана...

II

Однажды, грусти полн, стоял я у окна:
братишка мой в саду, – Бог весть во что играя, –
клат камни на карниз. Вдруг, странно замирая,
подумал я: ужель и я таким же был?
и в этот миг все то, что позже я любил,
все, что изведал я, – обиды и успехи, –
все затуманилось при тихом, светлом смехе
восставших предо мной младенческих годов.

III

И вот мне хочется в размер простых стихов
то время заключить, когда мне было восемь,
да, только восемь лет. – Мы ничего не просим,
не знаем в эти дни, но многое душой
уж можем угадать. – Я помню дом большой,
я помню лестницу, и мраморной Венеры
меж окон статую, и в детской – полусерый
и полужолотой непостоянный свет.

IV

Вставал я нехотя. (Как будущий поэт,
предпочитал я сон действительности ясной.
Конечно, – не всегда: как торопил я страстно
медлительную ночь пред светлым Рождеством!)
Потом до десяти, склонившись над столом,
писал я чепуху на языке Шекспира,
а после шел гулять...

V

Отдал бы я полмира,
чтоб снова увидеть мир яркий, молодой,
который видел я, когда ходил зимой
вдоль скованной Невы великолепным утром!
Снег, отливающий лазурью, перламутром,
туманом розовым подернутый гранит, –
как в ранние лета все нежит, все пленит!

VI

Тревожишь ты меня, сон дальний, сон неверный...
Как сказочен был свет сквозь арку над Галерной!
А горка изо льда меж липок городских,
смех девочек-подруг, стук санок удалых,
рябые воробьи, чугунная ограда?
О сказка милая, о чистая отрада!

VII

Увы! Все, все теперь мне кажется другим:
собор не так высок, и в сквере перед ним
давно деревьев нет, и уж шаров воздушных,
румяных, голубых, всем ветеркам послушных,
на серой площади никто не продает...

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Да что и говорить! Мой город уж не тот...

VIII

Зато остались мне тех дней воспоминанья:
я вижу, вижу вновь, как, возвратясь с гулянья,
позавтракав, ложусь в кроватку на часок.
В мечтаньях проходил назначенный мне срок...
Садилась рядом мать и мягко целовала
и пароходики в альбом мне рисовала...
Полезней всех наук был этот миг тиши!

IX

Я разноцветные любил карандаши,
пахучих сургучей густые капли, краски,
бразильских бабочек и английские сказки.
Я чутко им внимал. Я был героем их:
как грозный рыцарь смел, как грустный рыцарь тих,
колени преклонен пред смутной, пред любимой...
О как влекли меня – Ричард непобедимый
свободный Робин Гуд, туманный ланцелот! [2]

X

Картинку помню я: по озеру плывет
широкий, низкий челн; на нем простерта дева,
на траурном шелку, средь белых роз, а слева
от мертвой, на корме, таинственный старик
седою головой в раздумии поник,
и праздное весло скользит по влаге сонной,
меж лилий водяных...

XI

Глядел я, как влюбленный,
мечтательной тоски, видений странных полн,
на бледность этих плеч, на этот черный челн;
и ныне, как тогда, вопрос меня печалит:
к каким он берегам – неведомым – причалит,
и дева нежная проснет ли когда?

XII

Назад, скорей назад, счастливые года!
Ведь я не выполнил заветов ваших тайных,
ведь жизнь была потом лишь цепью дней случайных,
прожитых без борьбы, забытых без труда.
Иль нет, ошибся я, далекие года!
Одно в душе моей осталось неизменным, –
и это – преданность виденьям несравненным, –
молитва ясная пред чистой красотой.
Я ей не изменил, и ныне пред собой
я дверь минувшего без страха открываю
и без раскаянья былое призываю!

XIII

Та жизнь была тиха, как ангела любовь.
День мирно протекал. Я вспоминаю вновь, –
безоблачных небес широкое блистанье,
в коляске медленной обычное катанье
и в предзакатный час – бисквиты с молоком.
Когда же сумерки сгущались за окном,
и шторы синие, скрывая мрак зеркальный,
спускались, шелестя, и свет полу-печальный,
полу-отрадный ламп даль комнат озарял, –
безмолвно, сам с собой, я на полу играл;
в невинных вымыслах, с беспечностью священной,
я жизни подражал по-детски вдохновенно;
из толстых словарей мосты сооружал,
и поезд заводной уверенно бежал
по рельсам жестяным...

XIV

Потом – обед вечерний.
Ночь приближается, и сердцу суеверней.
Уж постлана постель, потушены огни.
Я слышу над собой: «Господь тебя храни»...
Кругом чернеет тьма и только щель дверная

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
полоской узкою сверкает – золотая.
Блаженно кутаюсь, и ножки подобрал,
вникаю в радугу обещанных забав..
Как сладостно тепло! И вот я позабылся...

XV

И странно: мнится мне, что сон мой долго длился,
что я проснулся лишь – теперь и что во сне,
во сне младенческом приснилась юность мне;
что страсть, тревога, мрак – все шутка домового,
что вот сейчас, сейчас ребенком встану снова
и в уголку свой мяч и паровоз найду...

Мечты!..

XVI

Пройдут года, и с ними я уйду,
веселый, дерзостный, но втайне беззащитный,
и после, может быть, потомок любопытный,
стихи безбурные внимательно прочтя,
вздохнет, подумает: он сердцем был дитя!
<3-4 сентября 1918>

Россия

Не все ли равно мне – рабой ли, наемницей,
иль просто безумной тебя назовут?
Ты светишь... Взгляну – и мне счастье вспомнится..
Да, эти лучи не зайдут!
Ты в страсти моей, и в страданиях торжественных,
и в женском медлительном взгляде была..
В полях озаренных, холодных и девственных,
цветком голубым ты цвела.
Ты осень водила по рощам заплаканным;
весной целовала ресницы мои.
Ты в душных церквах повторяла за дьяконом
слепые слова ектеньи[3].
Ты летом за нивой звенела зарницами;
в день зимний я в инее видел твой лик..
Ты ночью склонялась со мной над страницами
властительных, песенных книг.

Была ты и будешь... Таинственно создан я
из блеска и дымки твоих облаков.
Когда надо мною ночь плещется звездная,
я слышу твой реющий зов!
Ты – в сердце, Россия! Ты – цель и подножие,
ты – в ропоте крови, в смятенье мечты!
И мне ли плутать в этот век бездорожия?
Мне светишь по-прежнему ты..

Крым, <18 марта 1919>

Петр в Голландии

Из Московии суровой
он сюда перешагнул.
Полюбил он моря гул,
городок наш изразцовый[4];
и бродил вдоль берегов –
загорелый, грубый, юный.
Ветер. Пепельные дюны.
Стук далеких топоров.
Разноцветные заплаты
парусов над рябью вод.
Стая чаек. Небосвод, –
как фаянс, зеленоватый.

Были мудры вечера.
Кружки. Сонные соседи.
Думы голосом победы
звали плотника-Петра.
У стола мечтал он важно.
Четко тикали часы.
Помню: жесткие усы,
взор жестокий и отважный,

тень локтей и головы,
полки в маленькой таверне,
а на печке – блеск вечерний
и квадраты синева.

<30 марта 1919>

«Кто меня повезет...»

Кто меня повезет,
по ухабам, домой –
мимо сизых болот
и струящихся нив?
Кто укажет кнутом,
обернувшись ко мне,
меж берез и рябин
зеленеющий дом?
Кто откроет мне дверь?
Кто заплачет в сенях?
А теперь, – вот теперь, –
есть ли там кто-нибудь,
кто почуял бы вдруг,
что в далеком краю
я брожу и пою,
под луной, о былом?

Берлин <8 августа 1920>

«Я без слез не могу...»

я без слез не могу
тебя видеть, весна!
Вот стою на лугу
да и плачу навзрыд.
А ты ходишь кругом,
зеленея, шурша...
Ах, откуда она,
эта жгучая грусть!
Я и сам не пойму;
только знаю одно:
если б иволга вдруг
зазвенела в лесу,
если б вдруг мне в глаза
мокрый ландыш блеснул, –
в этот миг, на лугу,
я бы умер, весна...

<1 апреля 1921>

Облака

I

На солнце золотом сверкает дождь летучий,
озера в небесах синеют горячо,
и туча белая из-за лиловой тучи
встает, как голое плечо.

Молчи, остановись... Роняют слезы рая
соцветья вешние, склоняясь через плетень,
и на твоём лице играет их сырая,
благоухающая тень.

Не двигайся, молчи... Тень эту голубую
я поцелуями любовно обогну...
Цветы колышутся... я счастлив... Я целую
запечатленную весну.

II

Закатные люблю я облака:
над ровными, далекими лугами
они висят гроздистыми венками,
и даль горит, и молятся луга.
Я внемлю им. Душа моя строга,
овеяна неизвестными веками:
с кудрявыми багряными богами
я рядом плыл в те вольные века.
Я облаком, в вечерний чистый час,
вставал, пылал, туманился и гас,
чтоб вспыхнуть вновь с зарею неминучей.
Я облетал все зримое кругом,

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
блаженствовал и, помню, был влеком
жемчужной тенью, женственной тучей.
Берлин, <17 мая> 1921
«Я думаю о ней, о девочке, о дальней...»

Я думаю о ней, о девочке, о дальней,
и вижу белую кувшинку на реке,
и реющих стрижей, и в сломанной купальне
стрекозку на доске.
Там, там встречались мы и весело оттуда
пускались странствовать по шепчущим лесам,
где луч в зеленой мгле являл за чудом чудо,
блистая по листьям.
Мы шарили во всех сокровищницах Божьих;
мы в ивовом кусте отыскивали с ней
то лаковых жучков, то гусениц, похожих
на шахматных коней.
И ведали мы все тропинки дорогие,
и всем березанькам давали имена,
и младшую из них мы называли: Мария
святая Белизна..
О Боже! Я готов за вечными стенами
неисчислимыя страданья воспринять, –
но дай нам, дай нам вновь, под теми деревцами
хоть миг, да постоять!..
<4 июня 1921>
В поезде

Я выехал давно, и вечер не родной
рдел над равниною не русской,
и стихословили колеса подо мной,
и я уснул на лавке узкой.
Мне снились дачные вокзалы, смех, весна,
и, окруженный тряской бездной,
очнулся я, привстал, и ночь была душна,
и замедлялся ямб железный..
По занавескам свет, как призрак, проходил.
Внимая трепету и тренью
сморкающих колес, – я раму опустил:
пахнуло сыростью, сиренью!
Была передо мной вся молодость моя:
плетень, рябина подле клена,
чернеющий навес, и мокрая скамья,
и станционная икона.
И это длилось миг... Блестя, поплыли прочь
скамья, кусты, фонарь смиренный..
Вот хлынула опять чудовищная ночь,
и мчусь я, крошечный и пленный.
Дорога черная, без цели, без конца,
толчки глухие, вздох и выдох,
и жалоба колес, как повесть беглеца
о прежних тюрьмах и обидах.
Груневальд, 4 июля 1921
«Мечтал я о тебе так часто, так давно...»
Мечтал я о тебе так часто, так давно,
за много лет до нашей встречи,
когда сидел один, и кралась ночь в окно,
и перемигивались свечи!
И книгу о любви, о дымке над Невою,
о неге роз и море мглистом,
я перелистывал – и чуял образ твой
в стихе восторженном и чистом.
Дни юности моей, хмельные сны земли,
мне в этот миг волшебнo-звонкий,
казались жалкими, как мошки, что ползли
в янтарном блеске по клеенке..
Я звал тебя. Я ждал. Шли годы, я бродил
по склонам жизни каменистым

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
и в горькие часы твой образ находил
в стихе восторженном и чистом.
И ныне, наяву, ты, легкая, пришла,
и вспоминаю суеверно,
как те глубокие созвучья – зеркала
тебя предсказывали верно.
6 июля 1921
«За туманами плыли туманы...»
На смерть Блока

I
За туманами плыли туманы,
за луной расцветала луна...
Воспевал он лазурные страны,
где поет неземная весна.
И в туманах Прекрасная Дама
проплывала, звала вдалеке –
словно звон отдаленного храма,
словно лунная зыбь на реке.
Узнавал он ее в трепетанье
розоватых вечерних теней
и в метелях, смятенье, молчанье
чародейной отчизны своей.
Он любил ее гордо и нежно,
к ней тянулся он, строен и строг, –
но ладони ее белоснежной
бледный рыцарь коснуться не мог.
Слишком сумрачна, слишком коварна
одичалая стала земля,
и, склонившись на щит лучезарный,
оглянул он пустые поля.
И обманут мечтой несказанной,
и холодной мглой окружен,
он растаял, как месяц туманный,
как далекий молитвенный звон...

II
Пушкин – радуга по всей земле,
Лермонтов – Путь Млечный над горами,
Тютчев – ключ, струящийся во мгле,
Фет – румяный луч во храме.
Все они, уплывшие от нас
в рай, благоухающий широко,
собрались, чтоб встретить в должный час
душу Александра Блока.
Выйдет он из спутанных цветов,
из ладьи, на белые ступени...
Подойдут божественных певцов
взволновавшиеся тени.
Пушкин – выпуклый и пышный свет,
Лермонтов – в венке из звезд прекрасных,
Тютчев – веющий росой, а Фет –
в ризе тонкой, в розах красных.
Подойдут с приветствием к нему,
возликуют, брата принимая
в мягкую цветную полутьму
вечно дышащего мая.
И войдет таинственный их брат,
перешедший вьюги и трясины,
в те сады, где в зелени стоят
Серафимы, как павлины.
Сядет он в тени ветвей живых
в трепетно-лазоревых одеждах,
запоет о сбывшихся, святых
сновидениях и надеждах.
И о солнце Пушкин запоет,
Лермонтов – о звездах над горами,

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

Тютчев – о сверканьи звонких вод,
Фет – о розах в вечном храме.
И средь них прославит жданный друг
ширь весны нездешней, безмятежной,
и такой прольется блеск вокруг,
будут петь они так нежно, –
так безмерно нежно, что и мы,
в эти годы горести и гнева,
может быть, услышим из тюрьмы
отзвук тайный их напева.
<1921>

«Садом шел Христос с учениками...»
На годовщину смерти Достоевского

Садом шел Христос с учениками...
Меж кустов на солнечном песке,
вытканном павлиньими глазками,
песий труп лежал невдалеке.
И резцы белели из-под черной
складки, и зловонным торжеством
смерти – заглушён был ладан сладкий
теплых миртов, млеющих кругом.
Труп гниущий, трескаясь, раздулся,
полный слизких, слипшихся червей...
Иоанн, как дева, отвернулся,
сгорбленный поморщился Матвей.
Говорил апостолу апостол:
«Злой был пес; и смерть его нага,
мерзостна»...
Христос же молвил просто:
«Зубы у него, как жемчуга...»
<1921>

На сельском кладбище
На кладбище – солнце, сирень и березки,
и капли дождя на блестящих крестах,
Местами отлипли сквозные полосы
и в трубки свернулись на светлых стволах.
Люблю целовать их янтарные раны,
люблю их стыдливые гладить листки...
То медом повеет с соседней поляны,
то тиной потянет с недальной реки.
Прозрачны и влажны зеленые тени.
Кузнечики тикают – шепчут кусты, –
и бледные крестики тихой сирени
крепят на могилах сырые кресты.
<1922>

«Как воды гор, твой голос горд и чист...»
Ивану Бунину

Как воды гор, твой голос горд и чист.
Алмазный стих наполнен райским медом.
Ты любишь мир и юный месяц, лист,
желтеющий над смуглым, сочным плодом.
Ты любишь змей – тяжелых, злых узлов
лиловый лоск на дне сухой ложбины.
Ты любишь снежный шелест голубиный
вокруг лазурных влажных куполов.
Твой стих, роскошный и скупой, холодный
и жгучий стих один горит, один,
над маревом губительных годин, –
и весь в цветах твой жертвенник свободный.
Он каплет в ночь росую ледяной
и янтарями благовоний знойных,
и нагота твоих созвучий стройных
сияет мне как бы сквозь шелк цветной.

Безвестен я и молод в мире новом,
кошунственным, – но светит все ясней
мой строгий путь: ни помыслом, ни словом
не согрешу пред музою твоей.

<Сентябрь 1921 – сентябрь 1922>

В зверинце

Тут не звери – тут боги живут.

Ослепленный любит люда

павлинами, львами...

А меня почему-то привлек
ты, пушистый, ушастый зверек
с большими глазами.

Отыскал тебя в дальних краях
путешественник в синих очках,
в кокосовой шапке,

и, с добычей вернувшись назад,
написал по-латыни доклад
о складке на лапке.

Ходит, ходит, не видя людей,
желтый лев за решеткой своей,
как маятник медный;

рядом белый сияет павлин...

Кто заметит тебя? Ты один,
тушканчик мой бедный.

И с тоскою великой любви,
я в глаза углубляюсь твои,
большие, больные:

в них вся жалоба жизни моей,
в них предсмертная кротость детей,
страданья родные...

<1922>

Домой

На мызу, милые! Ямщик
вожжю овода прогонит,
и – с Богом! Жаворонок тонет
в звенящем небе, и велик,
и свеж, и светел мир, омытый
недавним ливнем: благодать,
благоуханье... Что гадать?

Все ясно, ясно; мне открыты
все тайны счастья; вот оно:
сырой дороги блеск лиловый;
по сторонам то куст ольховый,
то ива; бледное пятно
усадыбы дальней; рощи, нивы,
среди колосьев васильки;
зеленый склон; изгиб ленивый
знакомой тинистой реки...

Скорее, милые! Рокочет
мост под копытами... скорей!..
и сердце бьется, сердце хочет
взлететь и перегнать коней...

О, звуки, полные былого!

Мои деревья, ветер мой,
и слезы чудные, и слово
непостижимое: домой!..

<1917–1922?>

«В полнолуние, в гостиную пыльную и пышную...»

В полнолуние, в гостиную пыльную и пышную,
где рояль уснул средь узорных теней, –
опустив ресницы, ты вышла неслышно
из оливковой рамы своей.

В этом доме ветхом, давно опустелом,
над лазурным креслом, на светлой стене
между зеркалом круглым и шкапом белым,
улыбалась ты некогда мне.

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

и блестящие клавиши пели ярко,
и на солнце глубокий вспыхивал пол,
и в окне, на еловой опушке парка,
серебрился березовый ствол.
И потом не забыл я веселых комнат,
и в сиянье ночи, и в сумраке дня,
на чужбине я чуял, что кто-то помнит
и спасет и утешит меня.
И теперь ты вышла из рамы старинной,
из усадьбы любимой, и в час тоски
я увидел вновь платя вырез невинный,
на девичьих висках завитки.
И улыбка твоя мне давно знакома
и знаком изгиб этих тонких бровей,
и с тобою пришло из родного дома
много милых, душистых теней.
Из родного дома, где легкие льдинки
чуть блестят под люстрой, и льется в окно
голубая ночь, и страница из Глинки
на рояле белеет давно...

<Не позднее 1923>

Пасха[5]

Я вижу облако сияющее, крышу
блестящую вдали, как зеркало... Я слышу,
как дышит тень и каплет свет...
Так как же нет тебя? Ты умер, а сегодня
синее влажный мир, грядет весна Господня,
растет, зовет... Тебя же нет.
Но если все ручьи о чуде вновь запели,
но если перезвон и золото капли –
не ослепительная ложь,
а трепетный призыв, сладчайшее «воскресни»;
великое «цвети», – тогда ты в этой песне,
ты в этом блеске, ты живешь!..

<Апрель> 1922

Петербург

Поэма

Мне чудится в Рождественское утро
мой легкий, мой воздушный Петербург...
Я странствую по набережной... Солнце
взошло туманной розой. Пухлым слоем
снег тянется по выпуклым перилам.
И рысаки под сетками цветными
проносятся, как сказочные птицы;
а вдалеке, за ширью снежной, тают
в лазури сизой розовые струи
над кровлями; как призрак золотистый,
мерцает крепость (в полдень бухнет пушка
сперва дымок, потом раскат звенящий);
и на снегу зеленой бирюзой
горят квадраты вырезанных льдин.
Приземистый вагончик темно-синий,
пером скользя по проволоке тонкой,
через Неву пушистую по рельсам
игрушечным бежит себе; а рядом
расчищенная искрится дорожка
меж елочек, повоткнутых в сугробы:
бывало, сядешь в кресло на сосновых
полозьях, – парень в желтых рукавицах
за спинку хватать, – и вот по голубому
гудящему ледку толкает, крепко
отбрасывая ноги, косо ставя
ножи коньков, веревкой кое-как
прикрученные к валенкам, тупые,
такие же, как в пушкинские зимы...

Я странствую по городу родному,
по улицам таинственно-широким,

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

гляжу с мостов на белые каналы,
на пристани и рыбные садки.
Катки, катки, – на Мойке, на Фонтанке,
в Юсуповском серебряном раю:
кто учится, смешно раскинув руки,
кто плавные описывает дуги,
и бегуны в рейтузах шерстяных
гоняются по кругу, перегнувшись,
сжав за спиной футляр от этих длинных
коньков своих, сверкающих, как бритвы,
по звучному лоснящемуся льду.
А в городском саду – моем любимом –
между Невой и дымчатым собором,
сияющие, легкие виденья
сквозных ветвей склоняются над снегом,
над будками, над каменным верблюдом
Пржевальского, над скованным бассейном, –
и дети с гор катаются, гремят,
ложась ничком на бархатные санки.
Я помню всё: Сенат охряный, тумбы
и цепи их чугунные вокруг
седой скалы, откуда рвется в небо
крутой восторг зеленоватой бронзы.
А там, вдали, над сетью серебристой,
над кружевами дивными деревьев –
там величаво плавает в лазури
морозом очарованный Исакий:
воздушный луч на куполе туманном,
подернутые инеем колонны...

Мой девственный, мой призрачный!.. Навеки
в душе моей, как чудо, сохранится
твой легкий лик, твой воздух несравненный,
твои сады, и дали, и каналы,
твоя зима, высокая, как сон
о стройности нездешней...

Ты растаял,
ты отлетел, а я влачу виденья
в иных краях – на площадях зеркальных,
на палубах скользящих... Трудно мне...
Но иногда во сне я слышу звуки
далекие, я слышу, как в раю
о Петербурге Пушкин ясноглазый
беседует с другим поэтом[6], поздно
пришедшим в мир и скорбно отошедшим,
любившим город свой непостижимый
рыдающей и реющей любовью..
И слышу я, как Пушкин вспоминает
все мелочи крылатые, оттенки
и отзвуки: «Я помню, – говорит, –
летучий снег, и Летний Сад, и лепет
Олениной... Я помню, как, женатый,
я возвращался с медленных балов
в карете дребезжащей по Мильонной,
и радуги по стеклам проходили;
но, веришь ли, всего живее помню
тот легкий мост, где встретил я Данзаса
в январский день, пред самую дуэлью...»
<Берлин, не позднее 14 января 1923>
Тень

К нам в городок приехал в гости
бродячий цирк на семь ночей.
Блистали трубы на помосте,
надулись щеки трубачей.
На площадь, убранную странно,
мы все глядели – синий мрак,
собор святого Иоанна

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

и сотня пестрая зевак.
Дыханье трубы затаили,
и над бесшумною толпой
вдруг тишину переступили
куранты звонкою стопой.
И в вышине, перед старинным
собором, на тугой канат,
шестом покачивая длинным,
шагнул, сияя, акробат.
Курантов звон, который длился,
пока в нем пребывал Господь,
как будто в свет преобразился
и в вышине облекся в плоть.
Стена соборная щербата
и ослепительна была;
тень голубая акробата
подвижно на нее легла.
Все выше над резьбой портала,
где в нише – статуя и крест,
тень угловатая ступала,
неся свой вытянутый шест.
И вдруг над башней с циферблате
ночью схвачен синевою,
исчез он с трепетом крылатым –
прелестный облик теневой.
И снова заиграли трубы,
меж тем как, потен и тяжел,
в погасших блестках, гаер грубый
за подаяньем к нам сошел.
Шварцвальд, <3 сентября> 1925
Тихий шум

Когда в приморском городке,
среди ночи пасмурной, со скуки
окно откроешь – вдалеке
прольются шепчущие звуки.
Прислушайся и различи
шум моря, дышащий на сушу,
оберегающий в ночи
ему внимающую душу.
Весь день невнятен шум морской,
но вот проходит день незванный,
позванивая, как пустой
стакан на полочке стеклянной, –
и вновь в бессонной тишине
открой окно свое пошире,
и с морем ты наедине
в огромном и спокойном мире.
Не моря шум – в тиши ночной
иное слышно мне гуденье:
шум тихий родины моей,
ее дыханье и биенье.
В нем все оттенки голосов
мне милых, прерванных так скоро,
и пенье пушкинских стихов,
и ропот памятного бора.
Отдохновенье, счастье в нем,
благословенье над изгнаньем.
Но тихий шум не слышен днем
за суетой и дребезжаньем.
Зато в полночной тишине
внимает долго слух неспящий
стране родной, ее шумящей,
ее бессмертной глубине.
<Около 8 июня 1926>
Сны

Странствуя, ночуя у чужих,
я гляжу на спутников моих,

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

я ловлю их говор тусклый.

Роковых я требую примет:

кто увидит родину, кто – нет,
кто уснет в земле нерусской.

Если б знать... Ведь странникам даны
только сны о родине, а сны
ничего не переменяют.

Что таить – случается и мне
видеть сны счастливые: во сне
я со станции в именье

еду, не могу сидеть, стою
в тарантасе тряском, узнаю
все толчки весенних рытвин,

еду, с непокрытой головой,
белый, что платок твой, и с душой
слишком полной для молитвы.

Господи, я требую примет:

кто увидит родину, кто – нет,
кто уснет в земле нерусской.

Если б знать... За годом валит год,
даже тем, кто верует и ждет,
даже мне бывает грустно.

Только сон утешит иногда.

Не на области и города,
не на волости и села –

вся Россия делится на сны,
что несметным странникам даны
на чужбине, ночью долгой.

<22 июля> 1926

В раю

Моя душа, за смертью дальней
твой образ виден мне вот так:

натуралист провинциальный,
в раю потерянный чудак.

Там в роще дремлет ангел дикий –
полулавлинье существо.

Ты любознательно потыкай
зеленым зонтиком в него,
соображая, как сначала

о нем напишешь ты статью,
потом... но только нет журнала
и нет читателей в раю.

И ты стоишь, еще не веря
немому горю своему:

об этом синем сонном звере
кому расскажешь ты, кому?

Где мир и названные розы,
музей и птичьи чучела?

И смотришь, смотришь ты сквозь слезы
на безымянные крыла.

Берлин, <25 сентября> 1927

Расстрел

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать;

и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.

Проснусь, и в темноте, со стула,
где спички и часы лежат,

в глаза, как пристальное дуло,
глядит горящий циферблат.

Закрыв руками грудь и шею, –
вот-вот сейчас пальнет в меня! –

я взгляда отвести не смею
от круга тусклого огня.

Оцепенелого сознанья
коснется тиканье часов,

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
благополучного изгнания
я снова чувствую покров.
Но, сердце, как бы ты хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь расстрела
и весь в черемухе овраг.
Берлин, 1927

Толстой
Картина в хрестоматии: босой
старик. Я поворачивал страницу;
мое воображение оставалось
холодным. То ли дело – Пушкин:
плащ,
скала, морская пена... Слово «Пушкин»
стихами обрастает, как плющом,
и муза повторяет имена,
вокруг него бряцающие: Дельвиг,
Дантес, – и сладостно-звучна
вся жизнь его – от Делии лицейской
до выстрела в морозный день дуэли.
К Толстому лучезарная легенда
еще не прикоснулась. Жизнь его
нас не волнует. Имена людей,
с ним связанных, звучат еще не зрело:
им время даст таинственную знатность;
то время не пришло; назвав Черткова,
я только б сузил горизонт стиха.
И то сказать: должна людская память
утратить связь вещественную с прошлым,
чтобы создать из сплетни эпопею
и в музыку молчанье претворить.
А мы еще не можем отказаться
от слишком лестной близости к нему
во времени. Пожалуй, внуки наши
завидовать нам будут неразумно.
Коварная механика порой
искусственно поддерживает память.
Еще хранится в грамофонном диске
звук голоса его: он вслух читает,
однообразно, торопливо, глухо,
и запинается на слове «Бог»,
и повторяет: «Бог», и продолжает
чуть хриплым говорком – как
человек,
что кашляет в соседнем отделенье,
когда вагон на станции ночной,
бывало, остановится со вздохом.
Есть, говорят, в архиве фильмов
ветхих,
теперь мигающих подслеповато,
яснополянский движущийся снимок:
старик невзрачный, роста небольшого,
с растрепанною ветром бородой,
проходит мимо скорыми шажками,
сердясь на оператора. И мы
довольны. Он нам близок и понятен.
Мы у него бывали, с ним сидели.
Совсем не страшен гений, говорящий
о браке или о крестьянских школах...
И чувствуя в нем равного, с которым
поспорить можно, и зовя его
по имени и отчеству, с улыбкой
почтительной, мы вместе обсуждаем,
как смотрит он на то, на се... Шумят
витии за вечерним самоваром;
по чистой скатерти мелькают тени

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
религий, философий, государств –
отрада малых сих...

Но есть одно,
что мы никак вообразить не можем,
хоть рыщем мы с блокнотами, подобно
корреспондентам на пожаре, вокруг
его души. До некой тайной дрожи,
до главного добратся нам нельзя.
Почти нечеловеческая тайна!
Я говорю о тех ночах, когда
Толстой творил; я говорю о чуде,
об урагане образов, летящих
по черным небесам в час созиданья,
в час воплощенья... Ведь живые люди
родились в эти ночи... Так Господь
избраннику передает свое
старинное и благоданное право
творить миры и в созданную плоть
вдыхать мгновенно дух неповторимый.
И вот они живут; все в них живое –
привычки, поговорки и повадка;
их родина – такая вот Россия,
какую носим мы в той глубине,
где смутный сон примет невыразимых, –
Россия запахов, оттенков, звуков,
огромных облаков над сенокосом,
Россия обольстительных болот,
богатых дичью... Это все мы любим.
Его созданья, тысячи людей,
сквозь нашу жизнь просвечивают чудно,
окрашивают даль воспоминаний –
как будто впрямь мы жили с ними рядом.
Среди толпы Каренину не раз
по черным завиткам мы узнавали;
мы с маленькой Щербацкой танцевали
заветную мазурку на балу...
Я чувствую, что рифмой расцветаю,
я предаюсь цезримоу крылу...
Я знаю, смерть лишь некая граница;
мне зрима смерть лишь в образе одном
последняя дописана страница,
и свет погас над письменным столом.
Еще виденье, отблеском продлившись,
дрожит, и вдруг – немислимый конец...
И он ушел, разборчивый творец,
на голоса прозрачные деливший
гул бытия, ему понятный гул...
Однажды он со станции случайной
в неведомую сторону свернул,
и дальше – ночь, безмолвие и тайна...
<Не позднее 16 сентября 1928>
«Я помню твой приход: растущий звон...»

Я помню твой приход: растущий звон,
волнение, неведомое миру.
Луна сквозь ветки тронула балкон,
и пала тень, похожая на лиру.
Мне, юному, для неги плеч твоих
казался ямб одеждой слишком грубой.
Но был певуч неправильный мой стих
и улыбался рифмой красногубой.
Я счастлив был. Над гаснувшим столом
огонь дрожал, вылуцивал огарок;
и снилось мне: страница под стеклом,
бессмертная, вся в молниях помарок.
Теперь не то. Для утренней звезды
не откажусь от утренней дремоты.
Мне не под силу многие труды,

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
особенно тщеславия заботы.

Я опытен, я скуп и нетерпим.
Натертый стих блистает чище меди.
Мы изредка с тобою говорим
через забор, как старые соседи.
Да, зрелость живописна, спору нет:
лист виноградный, груша, пол-арбуза
и – мастерства предел – прозрачный свет.
Мне холодно. Ведь это осень, муза.
Берлин, <5–13 сентября> 1929
Снег

О, этот звук! По снегу –
скрип, скрип, скрип –
в валенках кто-то идет.
Толстый крученный лед
остриями вниз с крыши повис.
Снег скрипуч и блестящ.
(О, этот звук!)

Салазки сзади не тащатся –
сами бегут, в пятки бьют.
Сяду и съеду
по крутому, по ровному:
валенки врозь,
держусь за веревочку.
Отходя ко сну,
всякий раз думаю:
может быть, удосужится
меня посетить
тепло одетое, неуклюжее
детство мое.
Берлин, 1930

«На закате, у той же скамьи...»
На закате, у той же скамьи,
как во дни молодые мои,
на закате, ты знаешь каком,
с яркой тучей и майским жуком,
у скамьи с полусгнившей доской
высоко над румяной рекой,
как тогда, в те далекие дни,
улыбнись и лицо отверни,
если душам умерших давно
иногда возвращаться дано.
Берлин, 1935

Вечер на пустыре
Вдохновенье, розовое небо,
черный дом с одним окном
огненным. О, это небо,
выпитое огненным окном!
Загородный сор пустынный,
сорная былинка со слезой,
череп счастья, тонкий, длинный,
вроде черепа борзой.
Что со мной? Себя теряю,
растворяюсь в воздухе, в заре;
бормочу и обмираю
на вечернем пустыре.
Никогда так плакать не хотелось.
Вот оно, на самом дне.
Донести тебя, чуть запотелое
и такое трепетное, в целости
никогда так не хотелось мне...
Выходи, мое прелестное,
зацепись за стебелек,
за окно, еще небесное,
иль за первый огонек.
Мир быть может пуст и беспощаден,
я не знаю ничего,

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

но родиться стоит ради
этого дыханья твоего.
Когда-то было легче, проще:
две рифмы – и раскрыл тетрадь.
Как смутно в юности заносчивой
мне довелось тебя узнать!
Облокотившись на перила
стиха, плывущего, как мост,
уже душа вообразила,
что двинулась и заскользила,
и доплывет до самых звезд.
Но, переписанные начисто,
лишась мгновенно волшебства,
бессильно друг за друга прячутся
отяжелевшие слова.
Молодое мое одиночество
среди ночных, неподвижных ветвей;
над рекой изумление ночи,
отраженное полностью в ней;
и сиреневый цвет, бледный баловень
этих первых неопытных стоп,
освещенный луной небывалой
в полутрауре парковых троп;
и, теперь увеличенный памятью,
и прочнее, и краше вдвойне,
старый дом, и бессмертное пламя
керосиновой лампы в окне;
и во сне приближение счастья,
дальний ветер, воздушный гонец,
все шумней проникающий в чашу,
наклоняющий ветвь наконец;
все, что время как будто и отняло,
а глядишь – засквозило опять,
оттого что закрыто неплотно,
и уже невозможно отнять.
Мигая, огненное око
глядит сквозь черные персты
фабричных труб на сорные цветы
и на жестянку кривобокую.
По пустырю в темнеющей пыли
поджарый пес мелькает шерстью снежной.
Должно быть, потерялся. Но вдали
уж слышен свист настойчивый и нежный.
И человек навстречу мне сквозь сумерки
идет, зовет. Я узнаю
походку бодрую твою.
Не изменился ты с тех пор, как умер.
Берлин, <июль> 1932
Как я люблю тебя
Какой зеленый, серый, то есть
весь заштрихованный дождем,
и липовое, столь густое,
что я перенести... – уйдем!
Уйдем и этот сад оставим,
и дождь, кипящий на тропах
между тяжелыми цветами,
целующими липкий прах.
Уйдем, уйдем, пока не поздно,
скорее, под плащом, домой,
пока еще ты не опознан,
безумный мой, безумный мой!
Держись, молчу. Но с годом каждым,
под гомон птиц и шум ветвей,
разлука та обидней кажется,
обида кажется глупей.
И все страшней, что опрометчиво
проговорюсь и перебею
теченье тихой, трудной речи,

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

давно проникшей в жизнь мою.
Над краснощекиными рабами
лазурь, как лаковая вся,
с накачанными облаками,
едва заметными толчками
передвигающимися.
Ужель нельзя там притулиться
и нет там темного угла,
где темнота могла бы слиться
с иероглифами крыла?
Так бабочка не шевелится
пластом на плесени ствола.
Какой закат! И завтра снова,
и долго-долго быть жаре,
что безошибочно основано
на тишине и мошкаре.
В луче вечернем повисая,
она толчется без конца,
как бы игрушка золотая
в руках немого продавца.
Как я люблю тебя. Есть в этом
вечернем воздухе порой
лазейки для души, просветы
в тончайшей ткани мировой.
Лучи проходят меж стволами.
Как я люблю тебя! Лучи
проходят меж стволами, пламенем
ложатся на стволы. Молчи.
Замри под веткою расцветшей,
вдохни, какое разлилось –
зажмурься, уменьшись и в вечное
пройди украдкой насквозь.
Берлин, <17 апреля> 1934
Поэты

Из комнаты в сени свеча переходит
и гаснет. Плывет отпечаток в глазах,
пока очертаний своих не находит
беззвездная ночь в темно-синих ветвях.
Пора, мы уходим – еще молодые,
со списком еще не приснившихся снов,
с последним, чуть зримым сияньем России
на фосфорных рифмах последних стихов.
А мы ведь, поди, вдохновение знали,
нам жить бы, казалось, и книгам расти,
но музы безродные нас доконали,
и ныне пора нам из мира уйти.
И не потому, что боимся обидеть
свою свободу добрых людей.
Нам просто пора, да и лучше не видеть
всего, что сокрыто от прочих очей:
не видеть всей муки и прелести мира,
окна, в отдаленье поймавшего луч,
лунатиков смирных в солдатских мундирах,
высокого неба, внимательных туч;
красы, укоризны; детей малолетних,
играющих в прятки вокруг и внутри
уборной, кружащейся в сумерках летних;
красы, укоризны вечерней зари;
всего, что томит, обвивается, ранит;
рыданья рекламы на том берегу,
текучих ее изумрудов в тумане,
всего, что сказать я уже не могу.
Сейчас переходим с порога мирского
в ту область... как хочешь, ее назови:
пустыня ли, смерть, отрешенье от слова,
иль, может быть, проще: молчанье любви
Молчанье далекой дороги тележной,

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
где в пене цветов колея не видна,
молчанье отчизны – любви безнадежной,
молчанье зарницы, молчанье зерна.
Париж, 1939

«Отвяжись, я тебя умоляю...»
Отвяжись, я тебя умоляю!
Вечер страшен, гул жизни затих.
Я беспомощен. Я умираю
от слепых наплываний твоих.
Тот, кто вольно отчизну покинул,
волен выть на вершинах о ней,
но теперь я спустился в долину,
и теперь приближаться не смей.
Навсегда я готов затаиться
и без имени жить. Я готов,
чтоб с тобой и во снах не сходиться,
отказаться от всяческих снов;
обескровить себя, искалечить,
не касаться любимейших книг,
променять на любое наречье
все, что есть у меня, – мой язык.
Но зато, о Россия, сквозь слезы,
сквозь траву двух несмежных могил, [7]
сквозь дрожащие пятна березы,
сквозь все то, чем я смолоду жил,
дорогими слепыми глазами
не смотри на меня, пожалей,
не ищи в этой угольной яме,
не нащупывай жизни моей!
Ибо годы прошли и столетья,
и за горе, за муку, за стыд –
поздно, поздно! – никто не ответит,
и душа никому не простит.
Париж, <16 сентября> 1939
С серого севера

С серого севера
вот пришли эти снимки.
Жизнь успела не все
погасить недоимки.
Знакомое дерево
вырастает из дымки.
Вот на Лугу шоссе.
Дом с колоннами [8]. Оредежь.
Отовсюду почти
мне к себе до сих пор еще
удалось бы пройти.
Так, бывало, купальщикам
на приморском песке
приносится мальчиком
кое-что в кулачке.
Все, от камушка этого
с каймой фиолетовой
до стеклышка матово –
зеленоватого,
он приносит торжественно.
Вот это Батово.
Вот это Рожественно.
Монтрё, <20 декабря> 1967
Стихи из романа «Дар»
Мяч закатился мой под нянин
комод, и на полу свеча
тень за концы берет и тянет
туда, сюда – но нет мяча.
Потом там кочерга кривая
гуляет и грохочет зря,
и пуговицу выбивает,
а погода – полсухаря.

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Но вот выскакивает сам он
в трепещущую темноту,
через всю комнату, и прямо
под неприступную тахту.

Влезть на помост, облитый блеском,
упасть с размаху животом
на санки плоские – и с треском
по голубому... А потом,
когда меняется картина,
и в детской сумрачно горит
рождественская скарлатина
или пасхальный дифтерит,
съезжать по блещущему ломко,
преувеличенному льду,
в полутропическом каком-то,
полутаврическом саду...

В канавы скрылся снег со склонов,
и петербургская весна
волнения и анемонов,
и первых бабочек полна.
Но мне не надо прошлогодних,
увядших за зиму ванесс,
лимонниц, никуда не годных,
летающих сквозь прозрачный лес.
Зато уж высмотрю четыре
прелестных газовых крыла
нежнейшей пяденицы в мире
среди пятен белого ствола.

О, первого велосипеда
великолепье, высота;
на раме «Дукс» или «Победа»;
надутой шины тишина.
Дрожанье и вилы в аллее,
где блики по рукам скользят,
где насыпи кротов чернеют
и низвержением грозят.
А завтра пролетаешь через,
и, как во сне, поддержки нет,
и этой простоте доверясь,
не падает велосипед.

Фарфоровые соты синий,
зеленый, красный мед хранят.
Сперва из карандашных линий
слагается шершаво сад.
Березы, флигельный балкончик –
всё в пятнах солнца. Обмакну
и заверну погуще кончик
в оранжевую желтизну.
Меж тем в наполненном бокале,
в лучах граненого стекла –
какие краски засверкали,
какая радость зацвела!

Одни картины да киоты
в тот год остались на местах,
когда мы выросли, и что-то
случилось с домом: второпях
все комнаты между собою
менялись мебелью своей,
шкапами, ширмами, толпою
неповоротливых вещей.
И вот тогда-то, под тахтою,
на обнажившемся полу,
живой, невероятно милый,

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
он обнаружился в углу.

Благодарю тебя, отчизна,
за злую даль благодарю!
Тобою полн, тобой не признан,
я сам с собою говорю.
И в разговоре каждой ночи
сама душа не разберет,
мое ль безумие бормочет,
твоя ли музыка растет...
Ласточка
Однажды мы под вечер оба
стояли на старом мосту.
Скажи мне, спросил я, до гроба
запомнишь вон ласточку ту?
И ты отвечала: еще бы!
И как мы заплакали оба,
как вскрикнула жизнь на лету...
До завтра, навеки, до гроба –
однажды, на старом мосту...

Что скажет о тебе далекий правнук твой,
то славя прошлое, то запросто ругая?
Что жизнь твоя была ужасна? Что другая
могла бы счастьем быть? Что ты не ждал другой?
Что подвиг твой не зря свершался – труд сухой
в поэзию добра попутно обращая
и белое чело кандальника венчая
одной воздушною и замкнутой чертой?
Увы! Что б ни сказал потомок просвещенный,
все так же на ветру, в одежде оживленной,
к своим же Истина склоняется перстам,
с улыбкой женскою и детскою заботой,
как будто в пригоршне рассматривая что-то,
из-за плеча ее невидимое нам.

Прощай же, книга! Для видений
отсрочки смертной тоже нет.
С колен поднимется Евгений[9],
но удаляется поэт.
И все же слух не может сразу
расстаться с музыкой, рассказу
дать замереть... судьба сама
еще звенит, и для ума
внимательного нет границы
там, где поставил точку я:
продленный призрак бытия
синеет за чертой страницы,
как завтрашние облака,
и не кончается строка.
РАССКАЗЫ
Из книги «Возвращение Чорба»
РОЖДЕСТВО

I
Вернувшись по вечеряющим снегам из села в свою мызу, Слепцов сел в угол, на
низкий плюшевый стул, на котором он не сживал никогда. Так бывает после больших
несчастий. Не брат родной, а случайный неприметный знакомый, с которым в обычное
время ты и двух слов не скажешь, именно он толково, ласково поддерживает тебя,
подает оброненную шляпу, – когда все кончено, и ты, пошатываясь, стучишь зубами,
ничего не видишь от слез. С мебелью – то же самое. Во всякой комнате, даже очень
уютной и до смешного маленькой, есть нежилой угол. Именно в такой угол и сел
Слепцов.

Флигель соединен был деревянной галереей – теперь загроможденной сугробом – с
главным домом, где жили летом. Незачем было будить, согреть его, хозяин
приехал из Петербурга всего на несколько дней и поселился в смежном флигеле, где

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
белые изразцовые печки истопить – дело легкое.

В углу, на плюшевом стуле, хозяин сидел, словно в приемной у доктора. Комната плавала во тьме, в окно, сквозь стеклянные перья мороза, густо синел ранний вечер. Иван, тихий, тучный слуга, недавно сбритый себе усы, внес заправленную, керосиновым огнем налитую лампу, поставил на стол и беззвучно опустил на нее шелковую клетку: розовый абажур. На мгновение в наклоненном зеркале отразилось его освещенное ухо и седой еж. Потом он вышел, мягко скрипнув дверью.

Тогда Слепцов поднял руку с колена, медленно на нее посмотрел. Между пальцев к тонкой складке кожи прилипла застывшая капля воска. Он растопырил пальцы, белая чешуйка треснула.

II

Когда на следующее утро, после ночи, прошедшей в мелких нелепых снах, вовсе не относившихся к его горю, Слепцов вышел на холодную веранду, так весело выстрелила под ногой половица, и на беленую лавку легли райскими ромбами отраженья цветных стекол. Дверь поддалась не сразу, затем сладко хряснула, и в лицо ударил блистательный мороз. Песком, будто рыжей корицей, успан был ледок, облепивший ступени крыльца, а с выступа крыши, острями вниз, свисали толстые сосули, сквозящие зеленоватой синевой. Сугробы подступали к самым окнам флигеля, плотно держали в морозных тисках оглушенное деревянное строенье. Перед крыльцом чуть вздувались над гладким снегом белые купола клумб, а дальше сиял высокий парк, где каждый черный сучок окаймлен был серебром, и елки поджимали зеленые лапы под пухлым и сверкающим грузом.

Слепцов, в высоких валенках, в полушубке с каракулевым воротником, тихо зашагал по прямой, единственной расчищенной тропе в эту слепительную глубь. Он удивлялся, что еще жив, что может чувствовать, как блестит снег, как ноют от мороза передние зубы. Он заметил даже, что оснеженный куст похож на застывший фонтан и что на склоне сугроба – песьи следы, шафранные пятна, прожегшие наст. Немного дальше торчали столбы мостика, и тут Слепцов остановился. Горько, гневно столкнулся с перил толстый пушистый слой. Он сразу вспомнил, каким был этот мост летом. По склизким доскам, усеянным сережками, проходил его сын, ловким взмахом сачка срывал бабочку, севшую на перила. Вот он увидел отца. Неповторимым смехом играет лицо под загнутым краем потемневшей от солнца соломенной шляпы, рука тербит цепочку и кожаный кошелек на широком поясе, весело расставлены милье, гладкие, коричневые ноги в коротких саржевых штанах, в промокших сандалиях. Совсем недавно, в Петербурге, – радостно, жадно поговорив в бреду о школе, о велосипеде, о какой-то индийской бабочке, – он умер, и вчера Слепцов перевез тяжелый, словно всю жизнь наполненный гроб, в деревню, в маленький белокаменный склеп близ сельской церкви.

Было тихо, как бывает тихо только в погожий, морозный день. Слепцов, высоко подняв ногу, свернул с тропы и, оставляя за собой в снегу синие ямы, пробрался между стволов удивительно светлых деревьев к тому месту, где парк обрывался к реке. Далеко внизу, на белой глади, у проруби, горели вырезанные льды, а на том берегу, над снежными крышами изб, поднимались тихо и прямо розоватые струи дыма. Слепцов снял каракулевый колпак, прислонился к стволу. Где-то очень далеко кололи дрова – каждый удар звонко отпрыгивал в небо, – а над белыми крышами придавленных изб, за легким серебряным туманом деревьев, слепо сиял церковный крест.

III

После обеда он поехал туда, – в старых санях с высокой прямой спинкой. На морозе туго хлопала селезенка вороного мерина, белые веера проплывали над самой шапкой, и спереди серебряной голубиной лоснились колеи. Приехав, он просидел около часу у могильной ограды, положив тяжелую руку в шерстяной перчатке на обжигающий сквозь шерсть чугун, и вернулся домой с чувством легкого разочарования, словно там, на погосте, он был еще дальше от сына, чем здесь, где под снегом хранились летние неисчислимы следы его быстрых сандалий.

Вечером, сурово затосковав, он велел отпереть большой дом. Когда дверь с тяжелым рыданием раскрылась, и пахло каким-то особенным, не зимним холодком из гулких железных сеней, Слепцов взял из рук сторожа лампу с жестяным рефлектором и вошел в дом один. Паркетные полы тревожно затрещали под его шагами. Комната за комнатой заполнялись желтым светом; мебель в саванах казалась незнакомой; вместо люстры висел с потолка незвенящий мешок, – и громадная тень Слепцова, медленно

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
вытягивая руку, проплывала по стене, по серым квадратам занавешенных картин.

Войдя в комнату, где летом жил его сын, он поставил лампу на подоконник и наполовину отвернул, ломая себе ногти, белые створчатые ставни, хотя все равно за окном была уже ночь. В темно-синем стекле загорелось желтое пламя – чуть коптящая лампа, – и скользнуло его большое, бородатое лицо.

Он сел у голого письменного стола, строго, исподлобья, оглядел бледные в синеватых розах стены, узкий шкаф вроде конторского, с выдвигаемыми ящиками снизу доверху, диван и кресла в чехлах, – и вдруг, уронив голову на стол, страстно и шумно затрясся, прижимая то губы, то мокрую щеку к холодному пыльному дереву и цепляясь руками за крайние углы.

В столе он нашел тетради, расправилки, коробку из-под английских бисквитов с крупным индийским коконом, стоившим три рубля. О нем сын вспоминал, когда болел, жалел, что оставил, но утешал себя тем, что куколка в нем, вероятно, мертвая. Нашел он и порванный сачок – кисейный мешок на складном обруче, и от кисеи еще пахло летом, травяным зноем.

Потом, горбясь, всхлипывая всем корпусом, он принялся выдвигать один за другим стеклянные ящики шкапа. При тусклом свете лампы шелком отливали под стеклом ровные ряды бабочек. Тут, в этой комнате, вон на этом столе, сын расправлял свою поимку, пробивал мохнатую спинку черной булавкой, втыкал бабочку в пробковую щель меж раздвижных дощечек, распластывал, закреплял полосами бумаги еще свежие, мягкие крылья. Теперь они давно высохли – нежно поблескивают под стеклом хвостатые махаоны, небесно-лазурные мотыльки, рыжие крупные бабочки в черных крапинках, с перламутровым исподом. И сын произносил латынь их названий слегка картаво, с торжеством или пренебрежением.

IV

Ночь была сизая, лунная; тонкие тучи, как совиные перья, рассыпались по небу, но не касались легкой ледяной луны. Деревья – груды серого инея – отбрасывали черную тень на сугробы, загоравшиеся там и сям металлической искрой. Во флигеле, в жарко натопленной плюшевой гостиной, Иван поставил на стол аршинную елку в глиняном горшке и как раз подвязывал к ее крестообразной макушке свечу, – когда Слепцов, озябший, заплаканный, с пятнами темной пыли, приставшей к щеке, пришел из большого дома, неся деревянный ящик под мышкой. Увидя на столе елку, он спросил рассеянно, думая о своем:

– Зачем это?

Иван, освобождая его от ящика, низким круглым голосом ответил:

– Праздничек завтра.

– Не надо, убери... – поморщился Слепцов, и сам подумал: «Неужто сегодня Сочельник? Как это я забыл?»

Иван мягко настаивал:

– Зеленая. Пускай постоит...

– Пожалуйста, убери, – повторил Слепцов и нагнулся над принесенным ящиком. В нем он собрал вещи сына – сачок, бисквитную коробку с каменным коконом, расправилки, булавки в лаковой шкатулке, синюю тетрадь. Первый лист тетради был наполовину вырван, на торчавшем клочке осталась часть французской диктовки. Дальше шла запись по дням, названия пойманных бабочек и другие заметы: «Ходил по болоту до Боровичей...», «Сегодня идет дождь, играл в шашки с папой, потом читал скучнейшую „фрегат Палладу“», «Чудный жаркий день. Вечером ездил на велосипеде. В глаз попала мошка. Проезжал, нарочно два раза, мимо ее дачи, но ее не видел...»

Слепцов поднял голову, проглотил что-то – горячее, огромное. О ком это сын пишет?

«Ездил, как всегда, на велосипеде», – стояло дальше. «Мы почти переглянулись. Моя прелесть, моя радость...»

– Это немыслимо, – прошептал Слепцов, – я ведь никогда не узнаю...

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

Он опять наклонился, жадно разбирая детский почерк, поднимающийся, заворачивающий на полях.

«Сегодня – первый экземпляр траурницы. Это значит – осень. Вечером шел дождь. Она, вероятно, уехала, а я с нею так и не познакомился. Прощай, моя радость. Я ужасно тоскую...»

«Он ничего не говорил мне...» – вспоминал Слепцов, потирая ладонью лоб.

А на последней странице был рисунок пером: слон – как видишь его сзади, – две толстых тумы, углы ушей и хвостик.

Слепцов встал. Затряс головой, удерживая приступ страшных сухих рыданий.

– Я больше не могу... – простонал он, растягивая слова, и повторил еще протяжнее:
– Не – могу – больше...

«Завтра Рождество, – скороговоркой пронеслось у него в голове. – А я умру. Конечно. Это так просто. Сегодня же...»

Он вытащил платок, вытер глаза, бороду, щеки. На платке остались темные полосы.

– ...Смерть, – тихо сказал Слепцов, как бы кончая длинное предложение.

Тикали часы. На синем стекле окна теснились узоры мороза. Открытая тетрадь сияла на столе, рядом сквозила светом кисея сачка, блестел жестяной угол коробки. Слепцов зажмурился, и на мгновение ему показалось, что до конца понятна, до конца обнажена земная жизнь – горестная до ужаса, унижительно бесцельная, бесплодная, лишенная чудес...

И в то же мгновение щелкнуло что-то – тонкий звук – как будто лопнула натянутая резина. Слепцов открыл глаза и увидел: в бисквитной коробке торчит прорванный кокон, а по стене, над столом, быстро ползет вверх черное сморщенное существо величиной с мышь. Оно остановилось, вцепившись шестью черными мохнатыми лапками в стену, и стало странно трепетать. Оно вылупилось оттого, что изнемогающий от горя человек перенес жестяную коробку к себе, в теплую комнату, оно вырвалось оттого, что сквозь тугий шелк кокона проникло тепло, оно так долго ожидало этого, так напряженно набиралось сил и вот теперь, вырвавшись, медленно и чудесно росло. Медленно разворачивались смятые лоскутки, бархатные бахромки, крепи, наливаясь воздухом, веерные жилы. Оно стало крылатым незаметно, как незаметно становится прекрасным мужающее лицо. И крылья – еще слабые, еще влажные – все продолжали расти, расправляться, вот развернулись до предела, положенного им Богом, – и на стене уже была – вместо комочка, вместо черной мыши, – громадная ночная бабочка, индийский шелкопряд, что летает, как птица, в сумраке, вокруг фонарей Бомбея.

И тогда простертые крылья, загнутые на концах, темнobarхатные, с четырьмя слюдяными оконцами, вздохнули в порыве нежного, восхитительного, почти человеческого счастья.

ЗВОНОК

Семь лет прошло с тех пор, как он с нею расстался. Господи, какая суতোлка на Николаевском вокзале! Не стой так близко, сейчас поезд тронется. Ну вот, – прощай, моя хорошая... Она пошла рядом, высокая, худощавая, в макинтоше, с черно-белым шарфом вокруг шеи, – и медленным течением ее уносило назад. Затем он повоевал, нехотя и беспорядочно. Затем, в одну прекрасную ночь, под восторженное стрекотание кузнечиков, перешел к белым. Затем, – уже через год, – незадолго до выхода на чужбину, – на крутой и каменистой Чайной улице в Ялте, он встретил своего дядю, московского адвоката. Как же, как же, сведения есть, – два письма. Собирается в Германию и разрешение уже получила. А ты – молодцом. И, наконец, Россия дала ему отпуск, – по мнению иных – бессрочный. Россия долго держала его, он медленно соскальзывал вниз с севера на юг, и Россия все старалась удержать его, – Тверью, Харьковом, Белгородом, – всякими занимательными деревушками... не помогло. Был у нее в запасе еще один соблазн, еще один последний подарок, – Таврида, – но и это не помогло. Уехал. И на пароходе он познакомился с молодым англичанином, весельчаком и спортсменом, который отправлялся в Африку.

Николай Степаныч побывал и в Африке, и в Италии, и почему-то на Канарских островах, и опять в Африке, где некоторое время служил в иностранном легионе. Он сперва вспоминал ее часто, потом – редко, потом снова – все чаще и чаще. Ее второй муж, немец, умер во время войны. Ему принадлежали в Берлине два дома. Николай Степаныч рассчитывал, что она в Берлине бедствовать не будет. Но как время идет! Прямо поразительно... Неужто целых семь лет?

За эти годы он окреп, огрубел, лишился указательного пальца, изучил два языка – итальянский и английский. Его глаза стали еще простодушнее и светлее, оттого что ровным, мужицким загаром покрылось лицо. Он курил трубку. Походка его, – крепкая, как у большинства коротконогих людей, – стала удивительно мерною. Одно совершенно не изменилось в нем: его смех, – с прищуриной, с прибауткой.

Он долго посмеивался, качал головой, когда наконец решил все бросить и потихоньку перебраться в Берлин. Как-то раз – в Италии, кажется, – он заметил на лотке русскую газету, издававшуюся в Берлине. Он написал туда, просил поместить объявление, что он, мол, разыскивает... Вскоре после этого он покатил дальше, так и не узнав ничего. Из Каира уезжал в Берлин старичок журналист Грушевский. Вы там наведите справки. Может быть, найдете. Скажите, что я жив, здоров... Но и тут никаких вестей он не получил. А теперь пора... Нагряться. Там, на месте, уже легче будет разыскать. Возня с визами, денег не ахти как много. Ну, да уж как-нибудь доедем...

И он доехал. В желтом пальто с большими пуговицами, в клетчатом картузе, короткий и широкоплечий, с трубкой в зубах и с чемоданом в руке, он вышел на площадь перед вокзалом, усмехнулся, полюбовался бриллиантовой рекламой, проедающей темноту.

Ночь в затхлом номере дешевой гостиницы он провел плохо, – все придумывал, как начать розыски. Адресный стол, редакция русской газеты... Семь лет. Она, должно быть, здорово постарела. Свинство было так долго ждать, – мог раньше приехать. Но эти годы, это великолепное шатание по свету, волнение свободы, свобода, о которой мечталось в детстве!.. Сплошной Майн Рид... И вот опять – новый город, подозрительная перина и скрежет трамвая. Он нащупал спички, обрубком пальца привычным движением стал вдавливать в трубку мягкий табачок.

Во время путешествия забываешь названия дней: их заменяют города. Когда утром Николай Степаныч вышел на улицу с намерением отправиться в полицию, то увидел на всех лавках решетки. Оказалось – воскресенье. Адресный стол, редакция полетели к черту (не дай Бог попасть в воскресенье в чужой город!). Дело было осенью: ветер, астры в скверах, сплошь белое небо, желтые трамваи, трубный рев простуженных таксомоторов. Его несколько знобило от волнения, от мысли, что вот, он в том же городе, как и она. За германский полтинник ему дали стакан портвейна в шоферском кабаке, и вино натошак подействовало приятно. На улицах там и сям накрапывала русская речь: «...Сколько раз я тебя просила...» И через несколько туземных прохожих: «...Он мне предлагает их купить, но я, по правде сказать...» От волнения он посмеивался и гораздо скорее, чем обычно, выкуривал трубку. «...Казалось, прошло, – а теперь и Гриша слег...» Опять русские! Он подумал, не подойти ли к ним, не спросить ли поучтивее: «Вы, может быть, знаете такую-то?» В этой заблудившейся русской провинции, наверное, все друг друга знают.

Уже вечерело, и очаровательным мандариновым светом налились в сумерках стеклянные ярусы огромного универсального магазина, – когда Николай Степаныч, проходя мимо какого-то дома, случайно заметил на плоской серой колонке фронтона, у дверей, небольшую белую вывеску: «Зубной врач И. С. Вайнер. Из Петрограда». Неожиданное воспоминание так и ошпарило его. Этот милостивый государь подгнил, придется удалить. В окне – прямо против кресла пыток – стеклянные снимки, швейцарские виды... Окно выходило на Мойку. Теперь прополощите. И доктор Вайнер, толстый, спокойный старик в белом халате, в проницательных очках, перебирал инструментики. Она ходила к нему, и двоюродные братья ходили, – и еще говорили, когда случалась между ними какая-нибудь обида: а хочешь Вайнера (то есть в зубы)? Николай Степаныч постоял перед дверью, хотел было позвонить, – да вспомнил, что нынче воскресенье, подумал – и все-таки позвонил. Что-то зажужжало в замке, и дверь поддалась. Он поднялся на первый этаж. Открыла горничная.

– Нет, господин доктор сегодня не принимает.

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

– У меня зубы не болят, – возразил Николай Степаныч на прескверном немецком языке. – Доктор Вайнер – мой старый знакомый... Моя фамилия – Галатов, он, вероятно, помнит...

– Я доложу, – сказала горничная.

Через минуту вышел в прихожую пожилой человек, в домашней куртке с бранденбургскими[10], рыжеватый, удивительно с виду приветливый и, весело отрекомендовавшись, добавил:

– Я вас однако не помню, – тут, вероятно, произошла ошибка.

Николай Степаныч посмотрел на него и извинился:

– Да. И я вас тоже не помню. Я думал найти того доктора Вайнера, который жил до революции на Мойке. Промахнулся, – простите.

– Ах, это однофамилец, – сказал дантист. – Однофамилец. Это однофамилец. Я жил на Загородном.

– Мы у него все лечились, – пояснил Николай Степаныч. – Вот я и думал... Дело в том, что я разыскиваю одну даму, – госпожу Неллис...

Вайнер прикусил губу, напряженно посмотрел в сторону, потом снова обратился к нему:

– Позвольте... Если я не ошибаюсь... По-моему... По-моему, какая-то госпожа Неллис была у меня не так давно... Это мы сейчас установим. Будьте любезны пройти ко мне в кабинет.

В кабинете Николай Степаныч ничего не разглядел. Он не сводил глаз с безукоризненной лысины Вайнера, который наклонился над своим журналом.

– Это мы сейчас установим, – говорил Вайнер, водя пальцем по страницам. – Это мы сейчас установим. Это мы сейчас... Вот, пожалуйста, – Неллис. Золотая пломба и еще что-то, – не вижу, тут клякса.

– А как имя и отчество? – спросил Николай Степаныч, подойдя к столу, и обшлагом чуть не сбил пепельницу.

– И это отмечено. Ольга Кирилловна.

– Да, правильно, – облегченно вздохнул Николай Степаныч.

– Адрес: Планнерштрассе 59, бай Баб, – чмокнул Вайнер и быстро переписал адрес на отдельный листок. – Вторая улица отсюда. Пожалуйста. Очень рад услужить. Это ваша родственница?

– Моя мать, – сказал Николай Степаныч.

Выйдя от дантиста, он пошел несколько ускоренным шагом. То, что он так скоро ее отыскал, поразило его, как карточный фокус. Едучи в Берлин, он ни минуты не думал о том, что, может быть, она давно умерла или переехала в другой город, в другую страну, – и все-таки фокус удался. Вайнер оказался не тем Вайнером, – и все-таки судьба вышла из положения. Прекрасный город, прекрасный дождь! (бисерный осенний дождь моросил как бы шепотом, и на улицах было темно). Как она встретит его? Нежно? Или грустно? Или совсем спокойно? Она не баловала его в детстве. Ты не смеешь тут бегать, когда я играю на рояле. Потом, когда он вырос, ему часто казалось, что он мало нужен ей. Теперь он старался вообразить ее лицо, но мысли упорно не окрашивались, и он никак не мог собрать в живой зрительный образ то, что знал умом: ее худую, высокую, как бы некрепко свинченную фигуру, темные волосы с налетом седины у висков, большой бледный рот, потрепанный макинтош, в котором она была в последний раз, и усталое, горькое, уже старческое выражение, которое появилось на ее увядшем лице в те бедственные годы. Пятьдесят первый номер. Еще восемь домов.

Он спохватился вдруг, что волнуется нестерпимо, до неприличия, – куда больше,

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru чем в тот миг, например, когда лежал, страшно потел, уткнувшись боком в скалу, и целился в налетающий вихрь, – в белое чучело на чудесной арабской лошади. Не доходя до пятидесяти девятого номера, он остановился, вынул трубку и резиновый мешочек с табаком, набил трубку медленно, тщательно, не выронив ни одной табачной стружки, – поднес спичку, потянул, посмотрел, как взбухает огненный холмик, набрал полный рот сладковатого, щиплющего язык дыма, осторожно выпустил его – и не спеша, крепкими шагами, подошел к дому.

На лестнице было так темно, что раза два он споткнулся. Добравшись в густом мраке до первой площадки, он чиркнул спичкой и осветил золотистую дощечку подле двери. Не та фамилия. Странное имя «Баб» он нашел только гораздо выше. Огонек обжег ему пальцы и потух. Фу-ты, как сердце стучит... Он в темноте нащупал кнопку и позвонил. Затем вынул трубку из зубов и стал ждать, чувствуя, как мучительная улыбка разрывает ему рот.

И вот – что-то звякнуло за дверью, раз, еще раз – и, как ветер, качнулась дверь. В передней было так же темно, как на лестнице, и из этой темноты к нему вылетел звучный и веселый голос.

– У нас во всем доме погасло электричество, – прямо ужас, – и он мгновенно узнал это долгое, тягучее «у» в «ужасе» и мгновенно по этому звуку восстановил до малейших черт ту, которая, скрытая тьмой, стала в дверях.

– Правда, – ни зги не видать, – усмехнулся он и шагнул к ней.

Она так ахнула, будто кто-то с размаху ударил ее. Он отыскивал в темноте ее руки, плечи, толкнул что-то (вероятно, подставку для зонтиков).

– Нет-нет-нет – это невозможно, это невозможно... – быстро-быстро повторяла она и куда-то пятилась.

– Да постой же, мама, постой же, – сказал он и опять стукнулся (на этот раз о полуоткрытую дверь, которая со звоном захлопнулась).

– Это с ума можно сойти... Коленька, Коль...

Он целовал ее в щеки, в волосы, куда попало, – ничего не видя в темноте, но каким-то внутренним взором узнавая ее всю, с головы до пят, – и только одно было в ней новое (но и это новое неожиданно напомнило самую глубину детства, – когда она играла на рояле) – сильный, нарядный запах духов – словно не было тех промежуточных лет, когда он мужал, а она старела, и не душилась больше, и потом так горько увядала, – в те бедственные годы, – словно всего этого не было, и он из далекого изгнания попал прямо в детство...

– Вот – ты. Это – ты. Ну, вот – ты... – лепетала она, мягкими губами прижимаясь к нему. – Это хорошо... Это так надо...

– Да неужели нигде нет света? – рассмеялся Николай Степаныч.

Она толкнула какую-то дверь и проговорила взволнованным голосом:

– Да. Пойдем. У меня там свечи горят.

– Ну, покажись... – сказал он, входя в оранжевое мерцание свеч, и жадно взглянул на мать. У нее волосы были совсем светлые, выкрашенные в цвет соломы.

– Ну, что же, узнаешь? – сказала она, тяжело дыша, и поспешно добавила: – Да не смотри так. Рассказывай, рассказывай! Как ты загорел... Боже мой! Да, ну же, рассказывай!

Белокурые, подстриженные волосы... А лицо было раскрашено с какой-то мучительной тщательностью. Но мокрая полоска слезы разъела розовый слой, но дрожали густые от краски ресницы, но полиловела пудра на крыльях носа... Она была в синем лоснящемся платье с высоким воротником. И все было в ней чужое, и беспокойное, и страшное.

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
– У тебя, мама, вероятно, сегодня визиты, – заметил Николай Степаныч, не зная, что сказать, и энергично скинул пальто.

Она пошла от него к столу, где что-то было нагромождено и блестело, – потом к нему опять, посмотрелась в зеркало, – словно не знала, что делать.

– Сколько лет... Боже мой! Я прямо не верю глазам. Да-да, у меня должны быть гости. Я их отменю. Я позвоню. Я что-нибудь сделаю. Надо отменить... Ах ты, Боже мой...

Она прижалась к нему, теребила ему рукава.

– Да успокойся, мама, что с тобой, нельзя же так. Сядем куда-нибудь. Скажи, как у тебя все? Как ты поживаешь?..

И почему-то боясь ответов на свои вопросы, он стал рассказывать о себе, ладно прищелкивая слово к слову, попыхивая трубкой, стараясь заговорить, обкурить свое изумление. Оказалось, что и объявление она видела, и со стареньким журналистом встретилась, и несколько раз писала сыну в Италию, в Каир... Теперь, после того, как он рассмотрел ее искаженное краской лицо, ее искусственно желтые волосы, – ему казалось, что и голос ее уже не тот. И рассказывая о своих приключениях, не останавливаясь ни на мгновение, он оглядывал наполовину освещенную, дрожащую комнату, с плюшевой кошкой на камине, с ширмой, из-за которой выступало изножье кровати, с Фридрихом[11], играющим на флейте, с вазочками на полке, в которых прыгало, как ртуть, отражение огней... Странствуя глазами по комнате, он рассмотрел и то, что раньше мельком заметил, – накрытый на двоих стол, пузатую бутылку ликера, две высокие рюмки и огромный розовый пирог в разноцветном кольце еще не зажженных восковых свечек.

– ...Я, конечно, сразу выскочил, – и что же, ты думаешь, оказалось? Ну-ка, угадай!

Она как бы очнулась, испуганно посмотрела на него (а сидела она рядом, на диване, слегка откинувшись, сжав руками виски, – и ее ноги отливали незнакомым блеском).

– Да ты разве не слушаешь, мама?

– Нет, что ты, – я слушаю, я слушаю...

И теперь он подметил еще одно: она была странно рассеяна, словно прислушивалась не к его словам, а к чему-то постороннему, грозящему и неизбежному... Он продолжал свой рассказ, – но опять остановился, спросил:

– Это в честь кого же, – пирог? Очень аппетитный.

Его мать растерянно улыбнулась:

– Ах, это просто так... Я говорю же тебе, что у меня сегодня визиты.

– Мне ужасно напомнило Петербург, – сказал Николай Степаныч. – И, помнишь, ты раз ошиблась, забыла одну свечу. Мне стукнуло десять, а свеч было только девять. Фукнула мой день рождения. Вот был рев. А тут сколько штук?

– Да не всели равно!.. – крикнула она и встала, будто хотела ему загородить стол. – Скажи мне лучше, который час? Мне нужно отменить, позвонить, что-нибудь сделать.

– Четверть восьмого, – сказал Николай Степаныч.

– Ах, это слишком поздно! – снова крикнула она. – Все равно! Теперь уже все равно...

Оба замолчали. Она опять села. А Николай Степаныч старался себя заставить обнять ее, приласкаться к ней, спросить: Послушай, мама, – да что с тобой случилось? Да расскажи мне наконец... Он опять посмотрел на блестящий стол, сосчитал свечки вокруг пирога. Их было двадцать пять штук. Двадцать пять! А ему-то уж двадцать восемь...

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
– Да не осматривай так мою комнату! – сказала мать. – Прямо сыщик! Ужасающая комната, я хочу переехать, – быстро продолжала она – и вдруг легко ахнула: – Поймай... Что это такое? Это ты стукнул?

– Да, – ответил Николай Степаныч, – трубку выбиваю. А скажи мне, – у тебя есть деньги? Ты не нуждаешься?

Она стала поправлять какую-то ленточку на рукаве и заговорила, на него не глядя:

– Да... Ведь ты знаешь, кое-что после Генриха осталось... Но я должна тебя предупредить, – мне только как раз хватает на жизнь. Ради Бога, не стучи трубкой. Я должна тебя предупредить, что я... Что тебя... Ну, ты понимаешь, Коля, мне будет трудно тебя содержать...

– Эх, мамахен, куда ты загнула, – воскликнул Николай Степаныч (и в это мгновение, как солнце из-за облака, ударил с потолка электрический свет). – Ну вот, – можно свечи тушить, – а то сидим прямо как в склепе. Видишь ли, у меня небольшой запасец денег есть, – да и вообще я – вольная птица... Садись же, что ты бегаешь по комнате?

Высокая, худая, ярко-синяя, она остановилась перед ним, и теперь, при полном свете, он увидел, как она постарела, как упорно выступают сквозь восковой слой красок морщины на щеках и на лбу. И эти ужасные желтые волосы!..

– Ты так нагрязнул, – сказала она и, кусая губы, заглянула в лицо маленьким часам, стоявшим на полке. – Как снег на голову... Они спешат. Нет, остановились. У меня сегодня визиты, – а вот ты приехал... С ума сойти...

– Глупости, мама. Придут, увидят, что сын приехал, и очень скоро испарятся. А мы еще с тобой сегодня вечером в какой-нибудь мюзик-холл махнем, где-нибудь поужинаем... Я, вот, помню, видал африканский театр, – удивительная штука, прямо номер! Представь себе, человек пятьдесят негров, и такое, довольно большое, ну, примерно, как...

Громкий звонок затрещал с парадной. Ольга Кирилловна, присевшая было на ручку кресла, встрепенулась и выпрямилась.

– Поймай, я открою, – сказал Николай Степаныч и поднялся.

Она поймала его за рукав. Лицо у нее дергалось. Звонок осекся, – ждал.

– Это же, вероятно, твои визиты, – сказал Николай Степаныч. – Надо открыть.

Его мать резко мотнула головой, прислушиваясь.

– Как же так... – начал Николай Степаныч.

Она потянула его за рукав, шепотом проговорила:

– Не смей! Я не хочу... Не смей...

Звонок засверлил опять, на этот раз настойчиво и раздраженно. И сверлил долго.

– Пусти меня, – сказал Николай Степаныч. – Это глупо... Если звонят, надо открыть. Чего ты боишься?

– Не смей... Слышишь, не смей... – повторяла она, судорожно лоя его руки. – Я тебя умоляю... Коля, Коля, Коля!.. Не надо!

Звонок опять осекся. Его сменил крепкий стук, производимый набалдашником трости, что ли.

Николай Степаныч решительно направился в переднюю. Но на пороге комнаты мать поймала его за плечи, – изо всех сил старалась оттащить его и все шептала:

– Не смей... Не смей... Ради Бога!..

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Еще раз грянул звонок, коротко и гневно.

– Твое дело, – усмехнулся Николай Степаныч и, заложив руки в карманы, прошелся вдоль комнаты. «Кошмар – да и только», – подумал он и усмехнулся опять.

Звон прекратился. Все было тихо. Звонившему, видно, надоело, и он ушел. Николай Степаныч приблизился к столу, осмотрел великолепный, облитый блестящим кремом пирог, двадцать пять праздничных свечечек, две тоненьких рюмки. Рядом, словно притаясь в тени бутылки, лежала белая картонная коробочка. Он поднял ее, снял крышку. Внутри был новенький, довольно безвкусный серебряный портсигар.

– Так, – сказал Николай Степаныч.

Он обернулся – и только тогда заметил, что его мать, полулежа на кушетке и уткнувшись лицом в подушку, вздрагивает от рыданий. В прежние годы он часто видал ее плачущей, – но тогда она плакала совсем иначе, – сидела за столом, что ли, и, плача, не отворачивала лица, громко сморкалась и говорила, говорила, – а тут она рыдала так молодо, так свободно лежала... и было что-то изящное в повороте ее спины, в том, что одна нога в бархатном башмачке касается пола... Прямо можно было подумать, что это плачет молодая белокурая женщина... И платочек ее, как полагается, лежал комочком на ковре.

Николай Степаныч, крякнув, подошел, сел рядом на край кушетки. Крякнул опять. Его мать, скрывая лицо, заговорила в подушку:

– Ах, зачем ты не приехал раньше! Ну хотя бы на год раньше... Только на год...

– Сам не знаю, – сказал Николай Степаныч.

– Теперь все кончено... – всхлипнула она, и ее светлые волосы дрогнули. – Все кончено. Мне в мае будет пятьдесят лет. Взрослый сын приехал к старушке матери. И зачем ты приехал... именно теперь... именно сегодня...

Николай Степаныч надел пальто (которое, не по-европейски, бросил просто в угол), вынул из кармана картуз и опять присел рядом.

– Завтра утром я покачу дальше, – сказал он, поглаживая мать по плечу, по синему блестящему шелку. – Мне хочется теперь на север, – в Норвегию, что ли. А то на море, китов бить. Я тебе буду писать. Так, через годок, снова встретимся, тогда, может быть, дольше останусь. Уж ты не пеняй на меня, – кататься хочется!

Она быстро обхватила его, прижалась мокрой щекой к его шее. Потом сжала ему руку и вдруг удивленно вскрикнула.

– Пуля оттяпала, – рассмеялся Николай Степаныч. – Прощай, моя хорошая.

Она потрогала гладкий обрубок пальца и осторожно его поцеловала. Потом обняла сына, проводила его до дверей.

– Пиши, пожалуйста, почаще... Что ты смеешься? У меня, верно, вся пудра сошла.

И как только дверь за ним захлопнулась, она, шумя синим платьем, кинулась к телефону.

БЛАГОСТЬ

Мастерскую я унаследовал от фотографа. У стены еще стояло лиловатое полотно, изображавшее часть балюстрады и белесую урну на фоне мутного сада. В плетеном кресле, словно у входа в эту гушевую даль, я и просидел до утра, думая о тебе. На рассвете стало очень холодно. Постепенно выплыли из темноты в пыльный туман глиняные болванки, – одна, твое подобие, обмотанная мокрой тряпкой. Я прошел через эту туманную светлицу – что-то крошилось, потрескивало под ногой, – и концом длинного шеста зацепил и открыл одну за другой черные занавески, висевшие, как клочья рваных знамен, вдоль покатога стекла. Впустив утро – прищуренное, жалкое, – я рассмеялся, сам не зная чему, – быть может, тому, что вот, я всю ночь просидел в плетеном кресле, среди мусора, гипсовых осколков, в пыли высохшего пластилина, – и думал о тебе.

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Когда при мне произносили твое имя, вот какое чувство я испытывал: удар черноты, душистое и сильное движение; так ты заламывала руки, оправляя вуаль. Любил я тебя давно, а почему любил – не знаю. Лживая и дикая, живущая в праздной печали.

Недавно я нашел на столике у тебя в спальне пустую спичечную коробку; на ней был надгробный холмик пепла и золотой окурок, грубый, мужской. Я умолял тебя объяснить. Ты нехорошо смеялась. И потом расплакалась, и я, все простив тебе, обнимал твои колени, прижимался мокрыми ресницами к теплому черному шелку. После этого я две недели не видел тебя.

Осеннее утро мерцало от ветра. Я бережно поставил шест в угол. В широкий пролет окна видны были черепичные крыши Берлина – очертанья их менялись, благодаря неверным внутренним переливам стекла, – и среди крыш бронзовым арбузом вздымался дальний купол. Облака летели и прорывались, обнажая на мгновение легкую изумленную осеннюю синеву.

Накануне я говорил с тобой в телефон. Не выдержал, сам позвонил. Условились встретиться сегодня, у Бранденбургских ворот. Голос твой сквозь пчелиный гуд был далек и тревожен. Скользил, пропадал. Я говорил с тобой, плотно зажмурившись, и хотелось плакать. Моя любовь к тебе была бьющейся, восходящей теплотой слез. Рай представлялся мне именно так: молчанье и слезы, и теплый шелк твоих колен. Ты понять это не могла.

Когда после обеда я вышел на улицу – встретить тебя, – голова закружилась от сухого воздуха, от потоков желтого солнца. Каждый луч отдавался в висках. По панели, с шорохом, торопливо, вперевалку, бежали большие рыжие листья.

Я шел и думал о том, что, верно, на свиданье ты не придешь. А если и придешь, то все равно опять поссоримся. Я умел только лепить и любить. Тебе было мало этого.

Вот и грузные ворота. Сквозь проемы их протискивались толстобокие автобусы и катились дальше вдоль бульвара, уходящего вдаль, в тревожный синий блеск ветреного дня. Я ждал тебя под тяжелой сенью, между холодных колонн, у железного окна гауптвахты. Былолюдно: шли со службы берлинские чиновники, нечисто выбритые, у каждого под мышкой портфель, в глазах – мутная тошнота, что бывает, когда натошак выкуришь плохую сигару. Без конца мелькали их усталые и хищные лица, высокие воротнички. Прошла дама в красной соломенной шляпе, в пальто из серого барашка, юноша в бархатных штанах с пуговицами пониже колен. И еще другие.

Я ждал, опираясь на трость, в холодной тени угловых колонн. Я не верил, что ты придешь.

А у колонны, неподалеку от окна гауптвахты, был лоток – открытки, планы, веера цветных снимков, – а рядом на табурете сидела коричневая старушка, коротконогая, полная, с круглым, рябым лицом, – и тоже ждала.

Я подумал: кто из нас первый дождется, кто раньше явится – покупатель или ты. У старушки был вид вот какой: «Я ничего, я так, случайно присела тут; правда, рядом какой-то лоток – очень хорошие, любопытные вещицы. Но я – ничего...»

Люди без конца проходили между колонн, огибая угол гауптвахты; иной взглянет на открытки. Тогда старушка вся напрягалась, впивалась яркими крохотными глазами в лицо прохожего, словно внушала ему: купи, купи... – но тот, окинув взглядом цветные и серые снимки, шел дальше, и она, как бы равнодушно, опускала глаза, продолжала читать красную книгу, что держала на коленях.

Я не верил, что ты придешь. Но ждал тебя, как не ждал никогда, тревожно курил, заглядывал за ворота на чистую площадь в начале бульвара; и снова отходил в свой угол, стараясь не подавать виду, что жду, стараясь представить себе, что вот, пока я не гляжу, ты идешь, приближаешься, что если опять взгляну туда, за угол, то увижу твою котиковую шубу, черное кружево, свисающее с края шляпы на глаза, – и нарочно не смотрел, дорожил самообманом.

Хлынул холодный ветер. Старушка встала, принялась вставлять плотнее свои открытки. На ней было что-то вроде короткого тулупчика – желтый плюш, сборки у

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru поясницы. Подол коричневой юбки был подтянут спереди выше чем сзади, и потому казалось, что она ходит, выпятив живот. Я различал добрые, тихие складки на маленькой круглой шляпе, на потертых утиных сапожках. Она деловито возилась у лотка.

Рядом, на табурете, осталась книга – путеводитель по Берлину, – и осенний ветер рассеянно поворачивал страницы, трепал план, выпавший из них ступеньками.

Мне становилось холодно. Папироса тлела криво и горько. Волны неприязненной прохлады обдавали грудь. Покупатель не шел.

А старушка уселась снова, и так как табурет был слишком для нее высок, ей пришлось сперва поерзать, подошвы ее тупых сапожков попеременно отделялись от панели. Я кинул прочь папиросу, подхватил ее концом трости: огненные брызги.

Прошло уже с час, – быть может, больше. Как я мог думать, что ты придешь? Небо незаметно превратилось в одну сплошную тучу, и прохожие шли еще поспешнее, горбились, придерживали шапки, дама, переходившая площадь, открыла на ходу зонтик... Было бы просто чудо, если б ты теперь пришла.

Старушка, аккуратно переложив в книгу закладку, как будто призадумалась. Мне кажется, ей представлялся иностранец-богач из Адлона, который купил бы весь ее товар, и переплатил, и заказал бы еще и еще видовых открыток, путеводителей всяких. И ей, вероятно, нетепло было в этом плюшевом тулупчике. Но ты ведь обещала придти. Мне вспоминался телефон, бегущая тень твоего голоса. Господи, как мне хотелось тебя видеть. Снова хлынул недобрый ветер. Я поднял воротник.

И вдруг окно гауптвахты отворилось, и зеленый солдат окликнул старушку. Она быстро сползла с табурета и, выпятив живот, подкатилась к окну. Солдат покойным движеньем подал ей дымящуюся кружку и прикрыл раму. Повернулось и ушло в темную глубину его зеленое плечо.

Старушка, бережно неся кружку, вернулась к своему месту. Это был кофе с молоком – если судить по коричневой бахrome пенки, приставшей к краю.

И она стала пить. Я никогда не видал, чтобы пил человек с таким совершенным, глубоким, сосредоточенным наслаждением. Она забыла свой лоток, открытки, холодный ветер, американца, – и только потягивала, посасывала, вся ушла в кофе свой, точно так же, как и я забыл свое ожидание и видел только плюшевый тулупчик, потускневшие от блаженства глаза, короткие руки в шерстяных митенках[12], сжимавшие кружку. Она пила долго, пила медленными глотками, благоговейно слизывала бахрому пенки, грела ладони о теплую жесьть. И в душу мою вливалась темная, сладкая теплота. Душа моя тоже пила, тоже грелась, – и у коричневой старушки был вкус кофе с молоком.

Допила. На мгновенье застыла. Потом встала и направилась к окну – отдать пустую кружку.

Но не доходя она остановилась. Ее губы собрались в улыбочку. Быстро подкатилась, она обратно к лотку, выдернула две цветных открытки и, снова подбежав к железной решетке окна, мягко постучала шерстяным кулачком по стеклу. Решетка отпахнулась, скользнул зеленый рукав с блестящей пуговицей на обшлаге, и старушка сунула в черное окно кружку, открытки и торопливо закивала. Солдат, разглядывая снимки, отвернулся в глубину, медленно прикрывая за собою раму.

Тогда я почувствовал нежность мира, глубокую благодать всего, что окружало меня, сладостную связь между мной и всем сущим, – и понял, что радость, которую я искал в тебе, не только в тебе таится, а дышит вокруг меня повсюду, в пролетающих уличных звуках, в подоле смешно подтянутой юбки, в железном и нежном гудении ветра, в осенних тучах, набухающих дождем. Я понял, что мир вовсе не борьба, не череда хищных случайностей, а мерцающая радость, благодостное волнение, подарок, неоцененный нами.

И в этот миг, наконец, ты пришла, вернее не ты, а чета немцев, – он в непромокаемом плаще, ноги в длинных чулках – зеленые бутылки, – она – худая, высокая, в пантеровом пальто. Они подошли к лотку, мужчина стал выбирать, и моя кофейная старушка, покрасневшись, напыжившись, глядела то в глаза ему, то на открытки, суетливо, напряженно работая бровями, как делает старый извозчик, всем

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru телом своим подгоняющий клячу. Но не успел немец выбрать, как его жена пожалала плечом, оттянула его за рукав, – и тогда-то заметил я, что она на тебя похожа, – сходство было не в чертах, не в одежде, – а вот в этой брезгливой недоброй ужимке, в этом скользком и равнодушном взгляде. И оба они пошли дальше, ничего не купивши, – а старушка только улыбнулась, вставила обратно открытки, углубилась опять в свою красную книгу.

Мне незачем было дольше ждать. Я пошел прочь по вечеряющим улицам, заглядывал в лица прохожим, ловил улыбки, изумительные маленькие движения, – вот прыгает косица девчонки, бросающей мячик о стену, вот отразилась божественная печаль в лиловатом овальном глазу у лошади; ловил я и собирал все это, и крупные, косые капли дождя учащались, и вспомнился мне прохладный уют моей мастерской, вылепленные мною мышцы, лбы и пряди волос, и в пальцах я ощутил мягкую щекотку мысли, начинающей творить.

Стемнело. Летал дождь. Ветер бурно встречал меня на поворотах. А потом лязгнул и просиял янтарными стеклами трамвайный вагон, полный черных силуэтов, – и я вскочил на ходу, стал вытирать руки, мокрые от дождя.

В вагоне люди сидели нахохлясь, сонно покачиваясь. Черные стекла были в мелких, частых каплях дождя, будто сплошь подернутое бисером звезд ночное небо. Гремели мы вдоль улицы, обсаженной шумными каштанами, и мне все казалось, что влажные ветви хлещут по окнам. А когда трамвай останавливался, то слышно было, как стукались наверху об крышу срываемые ветром каштаны: ток – и опять, упруго и нежно: ток... ток... Трамвай трезвонил и трогался, и в мокрых стеклах дробился блеск фонарей, и я ждал с чувством пронзительного счастья повторения тех высоких и кротких звуков. Удар тормоза, остановка, – и снова одиноко падал круглый каштан, – погода падал и второй, стукаясь и катясь по крыше: ток... ток.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО БЕРЛИНУ

Утром я побывал в Зоологическом саду, а теперь вхожу с приятелем, постоянным моим собутыльником, в пивную: голубая вывеска, по ней белыми буквами начертано: «Львиная Брага», и сбоку подмигивает портрет льва, держащего кружку пива. Усевшись, я рассказываю приятелю о трубах, трамваях и прочих важных вещах.

I

ТРУБЫ

Перед домом, где я живу, лежит вдоль панели огромная черная труба, и на аршин подальше – другая, а там – третья, четвертая: железные кишки улиц, еще праздные, еще не спущенные в земляные глубины, под асфальт. В первые дни после того, как их гулко свалили с грузовиков, мальчишки бегали по ним, ползали на четвереньках сквозь эти круглые туннели, но через неделю уже больше никто не играл, – только валил снег. И теперь, когда в матовой полутьме раннего утра я выхожу из дома, то на каждой черной трубе белеет ровная полоса, а по внутреннему скату, у самого жерла одной из них, мимо которой как раз сворачивают рельсы, отблеск еще освещенного трамвая взмывает оранжевой зарницей. Сегодня на снеговой полосе кто-то пальцем написал «Отто», и я подумал, что такое имя, с двумя белыми «о» по бокам и четкой тихих согласных посередке, удивительно хорошо подходит к этому снегу, лежащему тихим слоем, к этой трубе с ее двумя отверстиями и таинственной глубиной.

II

ТРАМВАЙ

Трамвай лет через двадцать исчезнет, как уже исчезла конка. Я уже чувствую в нем что-то отжившее, какую-то старомодную прелесть. Все в нем немного неуклюже, шатко, и когда, при слишком быстром повороте, перо соскакивает с провода, и кондуктор, или даже один из пассажиров, перегнувшись через вагонную корму и глядя вверх, тянет, трясет веревку, норовя привести перо в должное положение, я всегда думаю о том, что возница дилижанса, должно быть, ронял иногда кнут, и осаживал свою четверку, и посылал за кнутом парня в долгополой ливрее, сидевшего рядом на козлах и пронзительно трубившего в рожок, пока, гремя по булыжникам, дилижанс ухал через деревню.

У трамвайного кондуктора, выдающего билеты, совсем особые руки. Они так же проворно работают, как руки пианиста, но вместо того, чтобы быть бескостными, потными, с мягкими ногтями, руки кондуктора – такие жесткие, что когда, вливая

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru ему в ладонь мелочь, случайно дотронешься до этой ладони, обросшей словно грубым, сухим хитином, становится нехорошо на душе. Необычайно ловкие, ладные руки, – несмотря на грубость их и толщину пальцев. Я с любопытством гляжу, как, зажав черным квадратным ногтем билетик, он прокалывает его в двух местах, как шарит пятерней в кожаном кошеле, загребая монеты для сдачи, и тотчас кошель захлопывает, дергает тренькающий шнур или ударом большого пальца отпахивает окошечко в передней двери, чтобы дать билеты стоящим на площадке. И при этом вагон качает, люди в проходе хватаются за висячие ремни, при каждом толчке подаются то вперед, то назад, – но он не уронит ни одной монеты, ни одного лоскутка, оторванного от билетного ролика. Теперь, в зимние дни, передняя дверца завешана внизу зеленым сукном, окна помутнели от мороза, у остановки, на краю панели, толпятся рождественские елки, – и зябнут у пассажиров ноги, и кондукторская рука подчас бывает в серой вязаной митенке. На конечной станции передний вагон отцепляется, переходит на другие рельсы, обходит оставшийся, возвращается с тыла, – и есть что-то вроде покорного ожидания самки в том, как второй вагон ждет, чтобы первый, мужеский, кидая вверх легкое трескучее пламя, снова подкатил бы, прицепился. И мне вспоминается, как, лет восемнадцать тому назад, в Петербурге, отпрягали лошадей, вели их вокруг пузатой синей конки.

Конка исчезла, исчезнет и трамвай, – и какой-нибудь берлинский чудак-писатель в двадцатых годах двадцать первого века, пожелав изобразить наше время, отыщет в музее былой техники столетний трамвайный вагон, желтый, аляповатый, с сидениями, выгнутыми по-старинному, – и в музее былых одежд отыщет черный, с блестящими пуговицами, кондукторский мундир, – и, придя домой, составит описание былых берлинских улиц. Тогда все будет ценно и полномерно, – всякая мелочь: и кошель кондуктора, и реклама над окошком, и особая трамвайная тряска, которую наши правнуки, быть может, вообразят; все будет облагорожено и оправдано стариной.

Мне думается, что в этом смысл писательского творчества: изображать обыкновенные вещи так, как они отразятся в ласковых зеркалах будущих времен, находить в них ту благоуханную нежность, которую почуют только наши потомки в те далекие дни, когда всякая мелочь нашего обихода станет сама по себе прекрасной и праздничной, – в те дни, когда человек, надевший самый простенький сегодняшней пиджачок, будет уже наряжен для изысканного маскарада.

III

РАБОТЫ

Вот образы разных работ, которые я наблюдаю из трамвайного окна.

На перекрестке вдоль рельс разворочен асфальт; четверо рабочих поочередно бьют молотами по котырке; первый ударил, второй уже опускает размашистым и точным движением молот; второй молот грянул и опять высоко поднимается, пока рушатся равномерно, один за другим, третий, четвертый. Я слушаю их неторопливый звон, чугунные куранты, четыре повторяющиеся ноты.

Молодой белый пекарь в колпаке промахнул на трехколесном велосипеде: есть что-то ангельское в человеке, осыпанном мукой. Дребезжит фургон с ящиками на крыше, в ящиках изумрудно поблескивают ровные ряды пустых бутылок, собранных по кабакам. Тайнственно провезли на телеге длинную черную лиственницу: она лежит плашмя, макушка мягко вздрагивает, а корни с землей, завернутые в плотную рогожу, образуют у ее основания огромную, желтовато-бурую бомбу. Почтальон подставил мешок под кобальтовый почтовый ящик, нацепляет его снизу, и тайно, незримо, с поспешным шелестом, ящик опоражнивается, и почтальон захлопывает квадратную пасть отяжелевшего мешка. Но, быть может, прекраснее всего – бланжевые, в розовых подтеках и извилинах, туши, наваленные на грузовик, и человек в переднике, в кожаном капюшоне с долгим затыльником, который берет тяжкую тушу на спину и, сгорбившись, несет ее через панель в румяную лавку мясника.

IV

ЭДЕМ

Во всяком большом городе есть своего рода земной рай, созданный человеком.

Если церкви говорят нам об Евангелии, то зоологические сады напоминают нам о торжественном и нежном начале Ветхого Завета. Жаль только, что этот искусственный рай – весь в решетках, но правда, не будь оград, лев пожрал бы лань. Все же это, конечно, рай, – поскольку человек способен рай восстановить. И недаром против берлинского Зоологического сада большая гостиница названа так:

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
гостиница «Эден» [13].

Теперь, зимой, когда тропических зверей спрятали, я советую посещать дом земноводных, насекомых, рыб. В полутемной зале ряды озаренных витрин по бокам похожи на те оконца, сквозь которые капитан Немо глядел из своей подводной лодки на морские существа, вьющиеся между развалин Атлантиды. За этими витринами, в сияющих углублениях, скользят, вспыхивая плавниками, прозрачные рыбы, дышат морские цветы, и на песочке лежит живая пурпурная звезда о пяти концах. Вот, значит, откуда взялась пресловутая эмблема: с самого дна океана – из темноты потопленных Атлантид, давным-давно переживших всякие смуты, – опыты глуповатых утопий, – и все то, что тревожит нас.

И, конечно, нужно посмотреть, как кормят черепах. Эти тяжкие, древние роговые купола привезены с Галапагосских островов. Из-под пятипудового купола медленно (как задержанный снимок в кинематографе), с какой-то дряхлой опаской, высовывается морщинистая плоская голова и две ни на что не способные лапы. И толстым, рыхлым языком, чем-то напоминающим язык гугнивого кретина, которого вяло рвет безобразной речью, черепаха, уткнувшись в кучу мокрых овощей, неопратно жует листья.

Но этот купол над ней, – ах, этот купол, – вековой, потертый, тусклая бронза, великолепный груз времен...

V

ПИВНАЯ

– Это очень плохой путеводитель, – мрачно говорит мой постоянный собутыльник. – Кому интересно знать, как вы сели в трамвай, как поехали в берлинский Аквариум?

Пивная, в которой мы с ним сидим, состоит из двух помещений, одно большое, другое поменьше. В первом стоит посередине бильярд, по углам – несколько столиков, против входной двери – стойка, и за ней бутылки на полках. В простенке висят, как бумажные знамена, газеты и журналы на коротких древках. В глубине – широкий проход, и там видна тесная комнатка с зеленым диваном вдоль стены, под зеркалом, из которого вываливается полукруглый стол, покрытый клетчатой клеенкой, и прочно становится перед диваном. Эта комната относится к убогой квартирке хозяина. Там жена его, полногрудая, увядшая немка, кормит супом белокурого ребенка.

– Неинтересно, – утверждает с унылым зевком мой приятель. – Дело вовсе не в трамваях и черепахах. Да и вообще... Скучно, одним словом. Скучный, чужой город. И жить в нем дорого...

Из нашего угла подле стойки очень отчетливо видны в глубине, в проходе, – диван, зеркало, стол. Хозяйка убирает со стола посуду. Ребенок, опираясь локтями, внимательно разглядывает иллюстрированный журнал, надетый на рукоятку.

– Что вы там увидели? – спрашивает мой собутыльник и медленно, со вздохом, оборачивается, тяжело скрипя стулом.

Там, в глубине, ребенок остался на диване один.

Ему оттуда видно зальце пивной, где мы сидим, – бархатный островок бильярда, костяной белый шар, который нельзя трогать, металлический лоск стойки, двое тучных шоферов за одним столиком и мы с приятелем за другим. Он ко всему этому давно привык, его не смущает эта близость наша, – но я знаю одно: что бы ни случилось с ним в жизни, он навсегда запомнит картину, которую в детстве ежедневно видел из комнатки, где его кормили супом, – запомнит и бильярд, и вечернего посетителя без пиджака, отодвигавшего белым углом локоть, стрелявшего кием по шару, – и сизый дым сигар, и гул голосов, и отца за стойкой, наливавшего из крана кружку пива.

– Не понимаю, что вы там увидели, – говорит мой приятель, снова поворачиваясь ко мне.

И как мне ему втолковать, что я подглядел чье-то будущее воспоминание?

Из книги «Соглядатай»

ОБИДА

Ивану Алексеевичу Бунину

Путя сидел на козлах, рядом с кучером (он не особенно любил сидеть на козлах, но кучер и домашние думали, что он это любит чрезвычайно. Путе же не хотелось их обидеть, – вот он там и сидел, желтолицый, сероглазый мальчик в нарядной матроске). Пара откормленных вороных, с блеском на толстых крупах и с чем-то необыкновенно женственным в долгих гривах, пышно похлестывая хвостами, бежала ровной плещущей рысью, и мучительно было наблюдать, как, несмотря на движение хвостов и подергивание нежных ушей, несмотря также на густой дегтярный запах мази от мух, тусклый слепень или овод с переливчатыми глазами навывкате присасывался к атласной шерсти.

У кучера Степана, мрачного пожилого человека в черной безрукавке поверх малиновой рубахи, была крашеная борода клином и коричневая шея в тонких трещинках. Путе было неловко, сидя с ним рядом, молчать; поэтому он пристально смотрел на постромки, на дышло, придумывая любопытный вопрос или дельное замечание. Изредка у той или другой лошади приподнимался напряженный корень хвоста, под ним надувалась темная луковица, выдавливая круглый золотой ком, второй, третий, и затем складки темной кожи вновь стягивались, опадал вороной хвост.

В коляске сидела, заложив нога на ногу, Путина сестра, смуглая молодая дама (ей было всего девятнадцать лет, но она уже успела развестись), в светлом платье, в высоких белых сапожках на шнурках с блестящими черными носками и в широкополой шляпе, бросавшей кружевную тень на лицо. У нее с утра настроение было дурное, и когда Путя в третий раз обернулся к ней, она в него нацелилась концом цветного зонтика и сказала:

– Пожалуйста, не вертись!

Сначала ехали лесом. Скользящие по синеве великолепные облака только прибавляли блеска и живости летнему дню. Ежели снизу смотреть на вершины берез, они напоминали пропитанный светом, прозрачный виноград. По бокам дороги кусты дикой малины обращались к жаркому ветру бледным исподом листьев. Глубина леса была испещрена солнцем и тенью, – не разберешь, что ствол, что просвет. Там и сям райским изумрудом вдруг вспыхивал мох; почти касаясь колес, пробежали лохматые папоротники.

Навстречу появился большой воз сена – зеленоватая гора в дрожащих тенях. Степан попридержал лошадей, гора накренилась на одну сторону, коляска в другую, – едва разминувшись на узкой лесной дороге, и повеяло острым полевым духом, послышался натруженный скрип тележных колес, мелькнули в глазах вялые скабиозы и ромашки среди сена, – но вот Степан причмокнул, тряхнул вожжами, и воз остался позади. А погода расступился лес, коляска свернула, на шоссе, и дальше пошли скошенные поля, – звон кузнечиков в канавах, гудение телеграфных столбов. Сейчас будет село Воскресенское, а еще через несколько минут – конец.

«Сказаться больным? Свалиться с козел?» – уныло подумал Путя, когда показались первые избы.

Тесные белые штанишки резали в паху, желтые башмачки сильно жали, неприятно перебирало в животе. День предстоял гнетущий, отвратительный, но неизбежный.

Уже ехали селом, и откуда-то из-за изб и заборов отзывалось деревянное эхо на согласный копытный плеск. Мальчишки играли в городки на заросшей травой обочине, со звоном взлетали рюхи. Мелькнули серебряные шары и ястребиное чучело в саду местного лавочника. Собака, молча, копя лай, выбежала из-за ворот, перемахнула через канаву и только тогда залилась лаем, когда догнала коляску. Протрусил верхом на гнедой, мохнатой деревенской лошадке, широко расставив локти и весь трясясь, мужик в рубахе, раздутой ветром и порванной на плече.

В конце села, на пригорке, среди густых лип, стояла красная церковь, а рядом с

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
ней – небольшой белокаменный склеп, похожий формой на пасху. Раскрылся вид на реку, – вода была зеленая, цветая, местами словно подернутая парчой. Сбоку от спускающегося шоссе жала приземистая кузница, – кто-то вывел на ее стене крупными меловыми буквами: «Да здравствует Сербия!». Стук копыт сделался вдруг звонким, упругим: ехали по мосту.

Босой старик, опершись на перила, удил рыбу; у его ног блестела жестяная банка. Стук копыт смягчился снова; мост и рыбак и речная излучина отстали непоправимо.

Теперь коляска катилась по пыльной, пухлой дороге, обсаженной дородными березами. Сейчас, вот сейчас из-за парка, выгнет зеленая крыша, – усадьба Козловых. Путя знал по опыту, как все будет неловко и противно, и с охотой отдал бы свой новый велосипед «Свифт» – и что еще в придачу? – стальной лук, скажем, и пугач, и весь запас пробок, начиненных порохом, – чтобы сейчас быть за десять верст отсюда, у себя на мызе, и там проводить летний день, как всегда, в одиноких, чудесных играх.

Из парка пахло грибной сыростью, еловой темнотой, а затем показался угол дома и кирпичный песочек перед каменным подъездом.

– Дети в саду, – сказала Анна Федоровна (Козлова), когда Путя с сестрой, пройдя через прохладные комнаты, где пахло гвоздиками, вышел на веранду; там сидело человек десять взрослых; Путя перед каждым расшаркивался, стараясь не чмокнуть по ошибке руку мужчине, как это однажды случилось. Сестра держала ладонь у него на темени, чего никогда не делала дома. Затем она села в плетеное кресло и необычайно повеселела. Все заговорили разом. Анна Федоровна взяла Путя за кисть, повела его вниз по ступеням, между лавровых и олеандровых кустов в зеленых кадках, и таинственно указала пальцем в сад.

– Они там, – сказала она, – ты пойдй к ним.

После чего она вернулась к гостям. Путя остался один на нижней ступени.

Начиналось прескверно. Необходимо было пройти через красную садовую площадку вон туда, в аллею, где среди солнечных пятен прыгали голоса, и что-то пестрело. Надо было проделать этот путь одному, приближаться, без конца приближаться, постепенно входить в поле зрения многих глаз.

Именинником был Володя Козлов, бойкий, насмешливый мальчик, одних с Путей лет. У Володи был брат Костя и две сестры, Бэби и Леля. Из соседнего имения приехали в шарабанчике двое маленьких Корфов и сестра их Таня, миловидная девочка с прозрачной кожей, синевой под глазами и черной косой, схваченной над тонкой шеей белым бантом. Кроме них были три гимназиста и тринадцатилетний, крепкий, ладный, загорелый Вася Тучков. Играми руководил студент, Яков Семенович, воспитатель Володи и Кости, пухлявый, грудастый молодой человек, в белой косоворотке, с бритой головой и с пенсне без ободков на точеном носу, вовсе не шедшим к яйцевидной полноте его лица. Когда Путя, наконец, подошел, Яков Семенович и дети метали копье в большую мишень из разноцветной соломы, прибитую к еловому стволу.

Последний раз Путя был у Козловых в Петербурге, на Пасхе, и тогда показывали туманные картины: Яков Семенович читал вслух «Мцыри», а другой студент орудовал волшебным фонарем. На мокрой простыне, в световом кругу, появлялась (судорожно набежав и остановившись) цветная картина, – например: Мцыри и прыгающий на него барс. Яков Семенович, прервав на минуту чтение, указывал палочкой на Мцыри и затем на барса; при этом палочка окрашивалась в цвета картины, и цвета потом соскальзывали, когда он палочку отодвигал. Каждая картина оставалась на простыне долго, так как их было только десять штук на всего «Мцыри». Вася Тучков иногда поднимал в темноте руку, дотягивался до луча, и на полотне возникали растопыренные черные пальцы. Раза два студент у фонаря вставлял пластинку неправильно, картина выходила вверх ногами, Тучков хохотал, а Путя мучительно краснел за студента и вообще старался делать вид, что он страшно интересуется. Тогда же он познакомился с Танечкой Корф и с тех пор часто думал о ней, представляя себе, как спасает ее от разбойников, как пособляет ему и преданно

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru любит его смелостью Вася (у которого, по слухам, был дома настоящий револьвер с перламутровой рукояткой).

Сейчас, расставив загорелые ноги, небрежно опустив левую руку на свой холщовый пояс с цепочкой и кожаным кошельком, Вася метил легким копьем в мишень, – вот раскочулся, вот попал в самую середину, и Яков Семенович громко сказал: «Браво». Путя осторожно вытащил копье, тихо отошел, тихо прицелился и попал тоже в середину; этого, впрочем, никто не заметил, так как игра кончилась, и все были заняты другим: приволокли и поставили посреди аллеи нечто вроде низенького поставца, с круглыми дырками по верху и толстой металлической лягушкой, широко разинувшей рот. Следовало попасть свинцовым пятаком либо в одну из дырок, либо лягушке в рот. Пятак проваливался в отделения с цифрами, лягушкин рот оценивался в пятьсот очков. Бросали по очереди, каждый по несколько раз. Игра была довольно тягучая, и в ожидании своей очереди некоторые из детей залезли в черничные заросли под деревьями. Ягода была крупная, матово-синяя, и загоралась лиловым блеском, если тронуть ее замусоленным пальцем. Путя, присев на корточки и кротко покрякивая, набирал чернику в ладонь и потом совал в рот всю горсть. Так получалось особенно вкусно. Иногда попадал в рот вместе с ягодами жесткий листик. Вася Тучков нашел маленькую гусеницу с разноцветными пучками волосков вдоль спины (вроде как у зубной щетки) и спокойно проглотил ее, к общему восхищению. В парке постукивал дятел, над травой жужжали тяжелые шмели и вползали в бледные, склоняющиеся венчики боярских колокольчиков. С аллеи доносился стук бросков и зычный картавый голос Якова Семеновича, советовавший кому-то лучше целиться. Рядом с Путей нагнулась Таня и с необыкновенно внимательным выражением на бледном лице, полуоткрыв фиолетовые блестящие губы, шаривала кустик. Путя, набравший в ладонь ягод, молча предложил ей всю горсть, она милостиво ее приняла, и Путя начал набирать для нее еще порцию. Но тут настала ее очередь бросать пятак, и она побежала к аллее, высоко поднимая тонкие ноги в белых чулках.

Игра в лягушку начинала всем надоедать, одни пропустили свой черед, другие швыряли кое-как, а Вася Тучков запустил в лягушку камнем, и все рассмеялись, кроме Якова Семеновича и Пути. Володя, именинник, стал требовать, чтобы сыграли в палочку-стукалочку. Мальчики Корф присоединились к этому, Таня запрыгала на одной ноге, хлопая в ладоши.

– Нельзя, ребята, нельзя, – сказал Яков Семенович. – Через каких-нибудь полчаса мы поедем с вами на пикник, а если вы будете разгоряченные, то не исключена простуда.

– Ну, пожалуйста, пожалуйста! – затаили все.

– Пожалуйста, – тихо повторил за другими Путя, решив, что устроится так, чтобы спрятаться вместе с Васей или Таней.

– Придется общую просьбу исполнить, – сказал Яков Семенович, любивший округлять свою речь. – Но только где же необходимое орудие?

Володя бросился по направлению куртин.

Путя подошел к зеленой скамье качалки, на которой стояли Таня, Леля и Вася; последний скакал и притоптывал так, что доска, кряхтя, дрыгала, и девочки вскрикивали и балансировали руками.

– Падаю, падаю! – воскликнула Таня и вместе с Лелей спрыгнула на траву.

– Хотите еще черники? – предложил Путя.

Она покачала головой, потом покосилась на Лелю и, обратившись к Путе, сказала:

– Мы с Лелей решили больше с вами не разговаривать.

– Почему? – пробормотал Путя, густо покраснев.

– Потому что вы ломака, – ответила она и, отвернувшись, вскочила на скамейку.

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Путя притворился, что поглощен разглядыванием курчаво-черной кротовинки с краю аллеи.

Между тем, запыхавшийся Володя принес палочку, зеленую, острую, из тех, коими подкрепляют на клумбах пионы и георгины. Стали решать, кому быть стучальщиком.

– Раз. Два. Три, – смешным повествовательным тоном начал Яков Семенович, тыча при каждом слове пальцем. – Четыре. Пять. Вышел зайчик. Погулять. Вдруг охотник (Яков Семенович остановился и сильно чихнул). Выбегает (...продолжал он, поправив пенсне). Прямо в зайчика. Стреляет. Пиф. Паф. Ой. Ой. Ой. У. Ми. Ра. Ет (слоги веско замедлялись). Зай. Чик. Мой.

«Мой» пал на Путя. Но тут все остальные еще теснее обступили Якова Семеновича, умоляя, чтобы искал он. Раздавались возгласы: «Пожалуйста, это будет гораздо интереснее».

– Так и быть. Я согласен, – ответил он, даже не взглянув на Путя.

В том месте, где аллея выходила на садовую площадку, стояла беленая, местами облупившаяся скамейка с решетчатой, тоже беленой, тоже облупившейся спинкой. На эту скамейку сел, держа в руках палочку, Яков Семенович, сгорбил жирную спину, плотно зажмурился и стал вслух считать до ста, давая этим время спрятаться. Вася и Таня словно сговорившись, побежали в глубину парка, один из гимназистов стал за липу, в трех шагах от скамейки, – а Путя, с тоской посмотрев на пестрые тени парка, отвернулся и направился в другую сторону, к дому, решив засесть на веранде, – не на той, конечно, где взрослые пили чай и где пел по-итальянски граммофон со сверкающим рупором, – а на другой, наискосок от аллеи. Веранда, к счастью, оказалась пуста. Под цветными стеклами, бросавшими на них цветные отражения, тянулись мягкие лавки, обитые сизым сукном в махровых розах. Была там еще венская качалка, чисто вылизанная миска на полу и круглый стол, покрытый клетчатой клеенкой. На столе ничего не было, кроме чьих-то одиноко лежавших стариковских очков.

Путя подполз к многоцветному окну и замер у белого подоконника. Был виден поодаль на розовой скамейке розовый Яков Семенович, неподвижно сгорбленный, под мелкой, рубиново-черной листвой. План Пути был прост: как только Яков Семенович досчитает до ста, стукнет палочкой, положит ее на скамейку и отойдет по направлению к парковым кустам, где были наиболее правдоподобные места для засады, – ринуться с веранды к скамейке, к палочке. Прошло полминуты. Голубой Яков Семенович сидел, согнувшись, под черно-синими листьями и топал носком по серебристому песку в такт счету. Как весело было бы так ждать и поглядывать сквозь разные стекла, если бы Таня... За что? Что я такого сделал?

Меньше всего было простых белых стекол. Вот просеменила по песку трясогузка. В углах ромбовидных оконных рам были паутинки. На подоконнике лежаладохлая муха. Ярко-желтый Яков Семенович встал с золотой скамейки и застучал по ней палочкой. В то же мгновение дверь на веранду открылась, и из полутьмы комнаты появилась сперва толстая рыжая такса, а затем, – седая стриженная старушка в черном платье с тугим пояском, с большой брошкой в виде трилистника на груди и с цепочкой от часов вокруг шеи, – часы же были засунуты за пояс. Собака, очень лениво, бочком, спустилась по ступенькам в сад, а старушка, подойдя к столу, сердито схватила очки, за которыми пришла. Вдруг она заметила Путя, сползшего на пол.

– Priate-qui? Priate-qui[14]? – произнесла она (с тем шутовским выговором, с каким изъясняются по-русски старые француженки, прожившие у нас лет сорок). – Toute n'est caroche, – продолжала она, ласково глядя на смущенное, умоляющее Путино лицо. – S'ichasse posajou caroche messt.

Изумрудный Яков Семенович стоял, подбоченясь, на бледно-зеленом песке и смотрел сразу по всем направлениям. Путя, боясь скрипучего и суетливого голоса старушки, – а еще пуще боясь ее обидеть отказом, – поспешно за ней последовал, но чувствовал при этом, что получается страшная чепуха. Она шла, цепко держа его за руку, через прохладные комнаты, – мимо белого рояля, гвоздик и гортензий, голубого ломберного стола, трехколесного велосипедика, деревянной болванки

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
селезня, лосьих рогов, шкапов с книгами, – все это бестолково выскакивало из разных углов, и Путя с ужасом соображал, что старушка уводит его далеко, на другую сторону дома, – а как объяснить ей, не огорчив ее, что игра, в которую он играет, скорее засада, чем прятки, что нужно ловить мгновение, когда Яков Семенович достаточно далеко отойдет от палочки, дабы успеть добежать до нее и постучать? Она провела его через пять-шесть комнат, потом через коридор, потом вверх по лестнице, потом через светлую горницу, где на сундуке у окна сидела румяная женщина и вязала на спицах; женщина подняла глаза, улыбнулась и, опустив опять ресницы, продолжала вязать. Старушка ввела его в следующую комнату: там стоял обитый кожей диван и пустая птичья клетка. Между огромным, красно-бурым бельевым шкапом и изразцовой печкой была как бы темная ниша.

– Votte, – сказала старушка и, легким нажимом вправив его туда, удалилась в соседнюю комнату, где продолжала разговор, никакого отношения к Путе не имевший, и слушательница, та, что вязала, изредка восклицала с удивлением: «Скажите пожалуйста!»

Путя стоял в своем закуте (сначала на коленках, словно он, в самом деле, тайлся, но потом выпрямился) и смотрел оттуда на стену в равнодушно-лазурных завитках, на окно, за которым мерцала верхушка тополя. Равномерно и хрипло стучали часы, и это почему-то напоминало всякие скучные и грустные вещи.

Прошло очень много времени. Вдруг разговор по соседству стал медленно уплывать и замер в отдалении. Тишина. Путя вылез.

Спустившись по лестнице, он на цыпочках пробежал через комнаты (шкапы, рога, велосипед, голубой стол, рояль), и вот, в глубине, ударила полоса цветного солнца, открытая дверь на веранду. Путя, крадучись, пробрался к стеклам и выбрал белое. На скамейке лежала зеленая палочка. Якова Семеновича не было видно; он, вероятно, отошел за те елки.

Путя, улыбаясь и волнуясь, прыгнул в сад и опрометью бросился к скамейке. Он еще бежал, когда заметил какую-то странную кругом неотзывчивость. Все же, не уменьшая скорости, он достиг скамейки и трижды стукнул палочкой. Впустую. Никого кругом не было. Трепетали солнечные пятна. По ручке скамейки ползла божья коровка, неряшливо выпустив из-под своего маленького крапчатого купола прозрачные кончики кое-как сложенных крыл.

Путя подождал несколько минут, озираясь исподлобья, и вдруг понял, что его забыли, игра давно кончилась, а никто не спохватился, что есть еще кое-кто ненайденный, таящийся, – забыли и уехали на пикник. Пикник же был единственным более или менее приятным обещанием этого дня, – приятно было, что взрослые не поедут, приятно было думать о печенном на костре картофеле, ватрушках с черникой, холодном чае в бутылках. Пикник отняли, но с этим лишением можно было примириться. Главное состояло в другом.

Путя переглотнул и неуверенно направился к дому, помахивая зеленой палочкой и стараясь сдержать слезы. На веранде играли в карты, – донесся смех сестры, неприятный смех. Он обошел дом с другой стороны, смутно думая, что там где-то должен быть пруд, и можно оставить на берегу платок с меткой и свисток на белом шнурке, а самому незаметно отправиться домой... Вдруг, завернув за угол дома, к водокачке, он услышал знакомый шум голосов. Все тут были – Яков Семенович, Вася, Таня, все остальные; они окружали мужика, который принес показать только что пойманного совенка. Совенок, толстенький, рябой, с прищуренными глазами, вертел головой, – вернее, не головой, а своим очкастым личиком, ибо нельзя было разобрать, где начинается голова, и где кончается тело.

Путя приблизился. Вася Тучков оглянулся и, обратившись к Тане, сказал со смешком:

– А вот идет ломака.

ЛЕБЕДА

Просторнейшей комнатой в особняке была библиотека. Туда, перед отъездом в школу, Путя заходил поздороваться с отцом. Шарканье и стальное трепетание. Отец каждое утро фехтовал с м-сье Маскара, маленьким, пожилым французом, сделанным из гуттаперчи и черной щетины. По воскресеньям Маскара преподавал Путе гимнастику и бокс, но, страдая животом, прерывал занятия, – потайными ходами, ущельями книжных шкапов, дремучими коридорами удалялся на полчаса в нужное место, – а Путя с огромными боевыми перчатками на тоненьких потных кистях, ждал, развалился в кожаном кресле, слушал легкое жужжание тишины и моргал, стараясь не заснуть. Свет электрических ламп, по-утреннему глухой и желтый, озарял наканифоленный линолеум, полки вдоль стен, беззащитные спины тесно уткнувшихся книг и черную виселицу грушевидного punching-ball[15]. За цельными окнами, с однообразной, бесплодной грацией, валил мягкий и медленный снег.

Недавно, в школе, географ Березовский (автор брошюры «Чао-Сан, страна утра. Корея и корейцы. С тринадцатью рисунками и картой в тексте»), пощипывая темную бородку, ненароком и не кстати объявил при всем классе, что он и Путя берут у Маскара частные уроки бокса. Все уставились на Путя. От смущения его лицо сделалось ярким и даже как бы одутловатым. На перемене Щукин, самый сильный, грубый и отсталый в классе, подошел и, осклабясь, сказал:

– Ну-ка, покажи бокс.

– Оставь, – тихо ответил Путя.

Щукин засопел и дал ему под микитки. Путя обиделся и прямым ударом, как учил француз, разбил Щукину нос. Удивленная пауза, кровь, зарумянившийся платок. Оправившись от удивления, Щукин навалился на Путя и молча его заломал. Однако, несмотря на боль во всем теле, Путя остался доволен. Кровь из щукинского носа продолжала идти на уроке естествознания, остановилась на арифметике и снова пошла на Законе Божьем. Путя наблюдал с тихим интересом.

В ту зиму его мать уехала в Ментону с Марой, которая полагала, что умирает от чахотки. Без сестры, довольно язвительной и пристающей молодой женщины, было скорее приятно, но вот с отсутствием матери Путя никак свикнуться не мог, скучал чрезвычайно, особенно по вечерам. Отца он видел мало. Отец был занят в учреждении, называемом Думой, где однажды обвалился потолок. Были еще фракции, то есть сборища, на которых, вероятно, все во фраках. Очень часто приходилось обедать отдельно, наверху, вместе с мисс Шелдон, черноволосой, светлоглазой, в просторной блузе и вязаном поперечно-полосатом галстуке, – а внизу, около чудовищно разбухших вешалок, скоплялась добрая сотня галosh, и если пробраться оттуда в комнату с шелковым турецким диваном, можно было вдруг услышать (когда лакей где-то в глубине отворял дверь) нестройный шум, зоологический гомон и далекий, но ясный голос отца.

Как-то, в сумрачное ноябрьское утро, Дима Корф, Путин сосед по парте, вынул из пегого ранца и протянул Путе иллюстрированный листок. На одной из первых страниц зеленела карикатура на Путиного отца, снабженная стихотворением. Путя скользнул глазами по строкам и выхватил из середины:

«Как джентльмен, он предлагал револьвер, шпагу иль кинжал».

– Это правда? – спросил Дима шепотом (только что начался урок).

– Что правда? – прошептал Путя.

– Потихе там, – вмешался Алексей Мартынович, учитель русского языка, мужиковатый, гугнивый, с безымянной и неопрятной растительностью над кривую губой и знаменитыми ногами в винтоподобных штанах: когда он шел, ноги у него завивались, – он ставил правую ступню туда, куда полагалось попасть левой, и наоборот, – но ходил все же весьма шибко.

Теперь он сидел у стола и перелистывал записную книжку; затем глаза его устремились на далекую парту, из-за которой, как деревцо, вырастающее от взгляда факира[16], уже поднимался Щукин.

– Что правда? – тихо повторил Путя, держа на коленях журнальчик и косясь на

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Диму.

Дима чуть подвинулся к нему. Между тем Щукин, бритоголовый, в черной саржевой косоворотке, начинал в третий раз с какой-то безнадежной бодростью: «„Муму“... Произведение Тургенева, „Муму“...»

– Насчет твоего папы, – вполголоса ответил Дима.

Алексей Мартынович с размаху хлопнул «Живым Словом» по столу, так что подскочила вставка и воткнулась пером в пол.

– Что это, в самом деле... шептуны... что это... – неразборчиво, плюясь и шипя, заговорил он. – Встать, встать... Корф... Шишков... Что это такое... что это вы там?

Он подошел и ловко схватил журнальчик.

– Гадость читаете, садитесь, садитесь... гадости...

Добычу свою он положил в портфель.

Потом был вызван Путя. Алексей Мартынович диктовал, а Путя писал на доске: «...поросший кашкою и цепкой ли бедой...» Окрик, – такой окрик, что Путя выронил мел.

– Какая там «беда»... Откуда ты взял беду? Лебеда, а не беда... Где твои мысли витают? Садись... Садись...

– Ну что, это правда? – прошептал Дима, улучив мгновение.

Путя притворился, что не слышит. Его пронизывала дрожь, которую он не мог остановить; в ушах повторялась строка о револьвере, шпаге и кинжале; в глазах стояло карикатурное изображение отца, угловатое, бледно-зеленое, причем зелень в одном месте переступила через контур, а в другом не дошла, – небрежность цветного отпечатка. Только что, перед отъездом в школу, – шарканье и стальное трепетание... Отец и француз – в толстых нагрудниках, в решетчатых масках... Все было, как обычно, – картавые вскрики француза, – *Battez! Rompez!*[17] – сильные движения отца, мигание и треск рапир. Он остановился; дыша и улыбаясь, снял выпуклую решетку с мокрого, розового лица.

Урок кончился. Алексей Мартынович унес с собой журнальчик. Путя сидел, бледный, как мел, поднимая и опуская крышку парты. С почтительным любопытством его окружали, теснили, требовали подробностей. Он ничего не знал и сам старался из расспросов узнать что-нибудь. Выходило так: депутат Туманский задел честь его отца, и отец вызвал Туманского на дуэль.

Прошли, влачась, еще два урока, затем была большая перемена, играли на дворе в снежки, и Путя стал почему-то начинать комья снега мерзлой землей, чего прежде никогда не делал. На следующем уроке немец Нуссбаум разорался на Щукина (которому в тот день не везло), и тогда Путя почувствовал спазму в горле и, чтобы не расплакаться при всех, отпросился в уборную. Там, около умывальника, одиноко висело донельзя замаранное, донельзя склизкое полотенце, – вернее, труп полотенца, прошедшего через множество мокрых, мнущих торопливых рук. Путя с минуту смотрелся в зеркало – лучший способ не дать лицу расплыться в гримасу плача.

Он подумал, не уйти ли домой до срока, – но эту мысль отогнал. Выдержка, главное – выдержка. В классе буря стихла. Щукин, с пурпурными ушами, но совершенно спокойный, уже сидел на своем месте, сложив руки крестом.

Еще два урока, и, наконец, – последний звонок, длинный и хриплый. Надев ботинки, полушубок, шапку с наушниками, Путя выбежал во двор, углубился в туннель ворот, прыгнул через подворотню... Автомобиля за ним не прислали, пришлось взять извозчика. Извозчик, худозадый, с плоской спиной, сидел криво и, по-своему погоняя лошадь, то делал вид, что вытаскивает из голенища кнут, то мягко взмахивал рукой, точно кого подзывая, и тогда санки дергались, и в Путином ранце постукивал пенал, и все это было как-то ужасно томительно и тревожно, – и большие, неровные, наскоро слепленные снежинки падали на плешивую полость.

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
В доме, с тех пор как уехали мать и сестра, бывало в этот час тихо. Путя поднялся по широкой, пологой лестнице, где на площадке, около малахитового столика, с вазой для визитных карточек, стояла безрукая Венера, которую однажды его двоюродные братья нарядили в плюшевую шубу и шляпу с вишнями, после чего она сделалась похожа на Прасковью Степановну, бедную вдову, приходившую каждое первое число. Добравшись до верху, он стал звать гувернантку. Но у мисс Шелдон сидела гостья – англичанка Веретенниковых. Мисс Шелдон послала Путя готовить на завтра уроки. Предварительно вымыть руки и выпить стакан молока. Дверь захлопнулась. Путя, чувствуя, как его обволакивает душная, страшная, ватная тоска, посидел в детской, потом спустился в бельэтаж, заглянул в отцовский кабинет. Все было невозможно тихо. В тишине с сухим звуком упал загнутый лепесток хризантемы. На тяжелом, сдержанно блестящем письменном столе стройно и неподвижно, в космическом порядке, стояли, как планеты, знакомые вещи – фотографии, мраморное яйцо, торжественная чернильница.

Путя перешел в будуар матери, и оттуда в фонарь, и долго стоял там, глядя в продолговатое окно. На улице было уже почти темно; вокруг лиловатых стеклянных глобусов летал снег; внизу смутно текли черные сани с черными горбатыми седоками. Быть может, завтра утром. Это всегда происходит по утрам, очень рано.

Он сошел вниз. Молчание и пустыня. В библиотеке он судорожно включил свет, черные тени отхлынули. Пристроившись у одного из шкапов, он попробовал заняться рассмотрением толстых переплетенных журналов. Красота мужчин в роскошной бороде и пышных усах. Я долго страдала от угрей. Концертный аккордеон «Удовольствие» с 20-ю голосами, 10-ю клапанами. Группа священников и деревянная церковь. Картина с надписью «Чужие»: господин пригорюнился у письменного стола, дама, в кудрявом боа, стоит поодаль, гантируя расправленную руку[18]. Этот том я уже смотрел. Он взял другой и сразу напоролся на поединок между двумя итальянскими фехтовальщиками, – этот сделал бешеный выпад, тот отстранился и пронзил противнику горло. Путя захлопнул тяжелый том и замер, держась за виски, как взрослый. Страшна была тишина, страшны неподвижные шкапы, глянцевиные гири на дубовом столе, черные коробки картотеки. Опустив голову, он вихрем пронесся через туманные комнаты. Наверху, в детской, он лег на диван и пролежал так в темноте, пока о нем не вспомнила мисс Шелдон. На лестнице загудел гонг, зовущий вниз, к обеду.

Из кабинета вышел отец и с ним полковник Розен, который когда-то был женихом сестры отца, умершей в молодости. Путя не смел на отца взглянуть и, когда большая ладонь знакомым теплом коснулась его виска, он покраснел до слез. Невозможно, нестерпимо думать, что этому человеку, лучше которого нет в мире, предстоит драться с каким-то туманным Туманским, – на чем? На пистолетах? На шпагах? Почему все молчат об этом? Знают ли что-нибудь слуги, гувернантка, мать в Ментоне? Полковник Розен за обедом острил, как острил всегда, сухо, кратко, будто раскалывал орехи, но сегодня Путя не смеялся, а поминутно заливался краской и, скрывая это, нарочно ронял салфетку, чтобы тихонько под столом отойти, вернуться к нормальному цвету, но вылезал оттуда еще краснее прежнего, и отец поднимал брови, посмеивался, – и, не спеша, со свойственной ему ровностью, исполнял обряд обеда, осторожно глотал вино из плоской золотой чарочки. Полковник продолжал острил. Мисс Шелдон, не понимавшая по-русски, молчала, строго выпятив грудь, и когда Путя горбился, неприятно подталкивала его под лопатки. На сладкое подали фисташковое парфэ[19], которое он ненавидел.

По окончании обеда, отец и полковник поднялись в кабинет пить кофе. У Пути был такой странный вид, что отец спросил:

– Путя, в чем дело? Почему ты кислый?

И каким-то чудом Путе удалось ответить:

– Нет, я не кислый.

Мисс Шелдон увела его спать. Как только погас свет, он уткнулся лицом в подушку. Онегин скидывал плащ, Ленский, как черный мешок, падал на подмости. У итальянца, сзади из шеи, торчал конец клинка. Маскара любил рассказывать, как в молодости он имел une affaire[20] – полсантиметра ниже, и была бы проткнута печень. И уроки на завтра не сделаны, и тьма кромешная в комнате, и нужно будет непременно встать пораньше, пораньше, – лучше не закрывать глаз, а то проспишь, – ведь это, наверное, назначено на завтра. Пропущу школу, пропущу, я скажу, что

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
горло. Мама вернется только на Рождество. Ментона, голубые виды. Вставить
последнюю открытку в альбом. Один уголок вошел, другой...

Проснулся Путя, как всегда, около восьми, как всегда услышал звон: это звякнул
печной заслонкой истопник. Когда, спеша, с влажными еще волосами, он спустился
вниз, отец, как ни в чем не бывало, занимался боксом с французом.

– Горло болит? – переспросил отец.

– Да. Першит, – тихо ответил Путя.

– А ты не врешь?

Путя почувствовал, что всякие дальнейшие объяснения опасны, – вот лопнет
плотина, хлынет постыдный поток. Он молча повернулся и через минуту сидел в
автомобиле, держа на коленях ранец. Поташнивало. Все было ужасно и непоправимо.

Он опоздал на первый урок – долго стоял с поднятой рукой за стеклянной дверью,
но в класс не был впущен, – и пошел слоняться по залу, потом сел на подоконник,
решил было просмотреть заданные уроки, но вместо этого в тысячный раз стал
воображать, как это все будет, – на морозе, в рассветном тумане... Как вывести
условленный день? Как узнать подробности? Если б уже быть в восьмом классе, нет,
хотя бы в седьмом... Тогда предложить: я тебя заменю.

Наконец – звонок. Зал наполнился шумом.

– Ну, что, доволен? Доволен? – спросил Дима Корф, подскочив к Путе.

Путя посмотрел на него с тоскливым недоумением.

– У Андрея внизу газета, – взволнованно сказал Дима. – Пойдем, мы успеем, я тебе
покажу. Но какой ты странный... Я бы на твоём месте...

Внизу на табурете сидел швейцар Андрей и читал. Он поднял глаза и улыбнулся.

– Вот тут, вот, – сказал Дима.

Путя взял газету и сквозь дрожащую муть прочел:

«Вчера, в 3 часа дня, на Крестовском острове, между Г. Д. Шишковым и графом А.
С. Туманским состоялась дуэль, окончившаяся, к счастью, бескровно. Граф
Туманский, стрелявший первым, дал промах, после чего его противник выстрелил в
воздух. Секундантами со стороны...»

Тут воды прорвались. Швейцар и Дима старались успокоить его, – он отталкивал их,
дергался, отстранял лицо, невозможно было дышать, никогда еще не бывало таких
рыданий, не говорите, пожалуйста, не рассказывайте никому, это я нездоров, у
меня болит... И снова рыдания.

ЗАНЯТОЙ ЧЕЛОВЕК

Тому, кто много занимается своей душой, нередко доводится присутствовать при
грустном, нелюбопытном явлении, а именно при том, как вдруг умирает пустяжное
воспоминание, по случайному поводу вызванное из той отдаленной скромной
богадельни, где доживало оно свой незаметный век. Оно мигает, оно еще пульсирует
и отсвечивает, – но тут же на ваших глазах, разок вздохнув, протягивает ножки,
не выдержав слишком быстрого перехода в резкий свет настоящего. Отныне остается
в распоряжении вашем лишь отражение его, краткий пересказ, лишенный, увы,
обаятельной убедительности подлинника. Нежный и смертобязненный Граф Ит,
вспоминая отроческий сон, заключавший лаконическое пророчество, уже давно не
чувствовал кровной связи между собой и этим воспоминанием, ибо, при одном из
первых вызовов, оно осунулось и умерло, – и то, что он теперь помнил, являлось
лишь воспоминанием о воспоминании. Когда это было? «Неизвестно», – ответил Граф,
отодвинув стеклянный горшочек со следами югурта[21] и облокотившись на стол.
Когда это было, – ну, приблизительно? Давно. Должно быть, между десятью и

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
пятнадцатью годами: он в ту пору много думал о смерти, – особенно по ночам.

Теперь: вот он, – тридцатидвухлетний, маленький, но широкоплечий мужчина, с отстающими, прозрачными ушами, полуактер, полулитератор, помещающий в зарубежных газетах юмористические стишки, – под не очень острым псевдонимом (неприятно напоминающим бессмертного каран д-Аша[22]). Вот он. Лицо его состоит из темных, со слепым бликом, очков в роговой оправе и шелковистой бородавки на щеке. Он лысеет, и в прямых, белесых, зачесанных назад волосах череп сквозит бледно-розовой замшей.

О чем он только что думал? Что это было за воспоминание, под которое он все подкапывался? Воспоминание о сне. Предупреждение, сделанное ему в том сне. Предсказание, вовсе не мешавшее ему жить доньше, но теперь, при неизбежном приближении назначенного срока, начинавшее звучать все громче и все настойчивее.

– Взять себя в руки, – истерическим речитативом произнес Граф и, кашлянув, встал, подошел к окну.

Все громче и все настойчивее. Когда-то приснившаяся цифра 33 запуталась в душе, вцепилась загнутыми коготками, вроде летучей мыши, и никак нельзя было распутать этот душевный колтун. По преданию, Иисус Христос дожил до тридцати трех лет, – и, быть может (думал Граф, замерев у креста оконной рамы), быть может, давний тот сон так и говорил: «Умрешь в возрасте Христа», – после чего осветились на экране тернии двух огромных троек.

Он распахнул окно. На улице было светлее, чем в комнате, но уже зажигались огни. Небо выстлано было ровными облаками, и только на западе, в провале между охрой тронутых домов, протянулась яркая, нежная полоса. Поодаль остановился с горящими очами автомобиль, погрузив прямые оранжевые клыки в водянисто-серый асфальт. На пороге своей лавки стоял блондин-мясник и смотрел в небо.

Как по камням через ручей, мысль Графа прыгнула с мясника на тушу, а затем: кто-то когда-то рассказывал ему, что кто-то где-то (в морге? в музее? в анатомическом театре?) ласково звал труп (или скелет?) «мыленький». Он за углом, этот мыленький. Будьте покойны, мыленький не обманет.

– Переберем возможности, – с усмешкой сказал Граф, косясь вниз, с пятого этажа, на черные чугунные шипы палисадника. – Первое, – самое досадное: привидится во сне нападение или пожар, вскочу, брошусь к окну и, полагая, – по сонной глупости, – что живу низко, выпрыгну в бездну. Другое: во сне же проглочу язык, это бывает, он судорожно запрокинется, глотну, задохнусь. Третье: я, скажем, брожу по улицам... В бою ли, в странствии, в волнах. Или соседняя долина[23]... Поставил, небось, «в бою» на первое место. Значит, предчувствовал. Был суеверен, и недаром. Что мне делать с собой? Одиночество.

Он женился в 1924 году, в Риге, куда попал из Пскова с тощей театральной труппой, – выступал с куплетами и, когда снимал очки, чтобы слегка оживить гримом мертвенькое лицо, глаза оказывались мутно-голубыми. Жена была крупная, здоровая женщина со стриженными черными волосами, жарким цветом лица и толстым колючим затылком; ее отец торговал мебелью. Вскоре Граф заметил, что она глупа и груба, что ноги у нее колесом, что на каждые два русских слова она употребляет десяток немецких. Он понял, что следует разойтись с нею, но медлил, мечтательно жалея ее, – так тянулось до 1926 года, когда она изменила ему с хозяином гастрономического магазина на улице Лачплесиса. Граф переселился в Берлин, где ему предлагала место фильмовая фирма (вскоре, однако, прогоревшая), зажил скромно, одиноко и безалаберно, часами просиживал в дешевой кофейне или пивной, где сочинял дежурное стихотворение. Вот канва его жизни, – не Бог весть какая, – мелкота, бледнота, русский эмигрант третьего разбора. Но, как известно, сознание вовсе не определяется бытием: во дни сравнительного благополучия, равно как и во дни истлевания носильных вещей и голода, Граф, до роковой години, предсказанной сном, жил по-своему счастливо. Он был, в полном смысле слова, «занятой человек», ибо предметом его занятий была собственная душа, – и вот уж когда, действительно, роздыха не знаешь, – да и не надобно его. Речь идет о воздушных ямах жизни, о сердцебиении, о жалости, о набегах прошлого, – чем-то запахло, что-то припомнилось, – но что? Что? – и почему никто не замечает, что на самой

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru скучной улице дома все разные, разные, и сколько есть на них, да и на всем прочем, никчемных на вид, но какой-то жертвенной прелести полных украшений? Поговорим откровенно: есть люди, так отсидевшие душу, что больше не чувствуют ее. Есть зато другие, наделенные принципами, идеалами, тяжело болеющие вопросами веры и нравственности; но искусство чувствования у них – прикладное искусство. Это тоже люди занятые: горнорабочие сознания, они, по принятому выражению, «копаются в себе», глубоко забирая врубовой машиной совести и шалея от черной пыли грехов, грешков, грехоидов. К их числу Граф не принадлежал: грехов особых у него не было, не было и принципов. Он занимался собой, как некоторые занимаются живописью или составлением коллекций, или разбором рукописи, богатой замысловатыми переносами, вставками, рисунками на полях и темпераментными помарками, как бы сжигающими мосты между образами, – мосты, которые так забавно восстанавливать.

В занятия его вмешалось нечто постороннее, – это вышло неожиданно и мучительно, – как быть? Постояв у окна (и все придумывая расправу с глупой, ничтожной, но неотразимой мыслью, что на днях, – девятнадцатого июня, – он вступит в тот возраст, о котором говорил отроческий сон), Граф тихо покинул свою потемневшую комнату, где уже все предметы, приподнятые волной сумерек, не стояли, а плавали, как мебель во время наводнения. На улице было все еще светло, – и как-то сжималось сердце от нежности рано зажженных огней. Граф заметил сразу, что кругом что-то творится, распространялось странное волнение, собирались на перекрестках, делали загадочные угловатые знаки, переходили на другую сторону и, снова указывая вдаль, замирали в таинственном оцепенении. В сумеречной дымке терялись существительные, оставались только глаголы – даже не глаголы, а какие-то их архаические формы. Это могло значить многое: например – конец мира. Вдруг, с замиранием во всем теле, он понял: вон там, в глубоком пролете между домов, по ясно-золотому фону, под длинной пепельной тучей, низко, далеко и очень медленно проплывал, тоже пепельный, тоже продолговатый, воздушный корабль. Дивная, древняя красота его движения, вместе с невыносимой красотой вечера, неба, оранжевых огней, синих людских силуэтов, переполнила душу Графа. Он почувствовал (точно это было знамение), что он и впрямь вот-вот дойдет до предела положенной ему жизни, что иначе быть не может: наш сотрудник, люди, близко знавшие покойного, свежий юмор, свежая могила... И что уже совсем непостижимо: вокруг некролога будет сиять равнодушная газетная природа[24], – лопухи фельетонов, хвощи хроники...

В тихую летнюю ночь ему минуло тридцать три года. Он сидел у себя в комнате, моргающий, без очков, в арестантских подштанниках, и один торжествовал непрошеную годовщину. Гостей он не пригласил, боясь тех случайностей (разбитое зеркальце, разговор о бренности жизни), которые впоследствии чужая память непременно бы возвела в чин предзнаменований и предчувствий. Остановись, остановись, мгновение[25], – ты не очень прекрасно, но все-таки остановись, – вот ведь неповторимая личность в неповторимой среде, – бурелом растрепанных книг на полках, стеклянный горшочек из-под югурта, удлинняющего жизнь, шерстистая проволока для прочищения трубки, толстый альбом цвета золы, в который Графом вклеено все, начиная с собственных стихов, вырезанных из газет, и кончая русским трамвайным билетиком, – вот это сочетание вещей окружает Графа Ита (псевдоним, выдуманный давно, дождливой ночью, в ожидании парома), ушастого, кряжистого человечка, сидящего на краю постели с фиолетовым, дырявым, только что снятым носком в руке.

Он стал бояться всего – лифта, сквозняков, строительных лесов, уличного движения, демонстрантов, автомобильной вышки – для починки проводов – огромного газоема, который мог взорваться, как раз когда он проходил мимо, по пути на почтамт, где, опять же, мог затеять стрельбу дерзкий грабитель в домодельной маске. Он чувствовал всю глупость своего состояния, но был не способен побороть себя. Тщетно он старался отвлечься, думать о другом: на запятках всякой проносившейся мысли неотвязным выездным стоял «мыленький». Между тем стихи, которые он продолжал прилежно поставлять в газеты, становились все игривее и простодушнее (ибо никто задним числом не должен был усмотреть в них предчувствия близкого конца), и эти легкие, деревянные стихи, ритм которых напоминал движение вербной штучки, медведя и мужика, и в которых рифмовали «проталин» и «Сталин», – именно стихи, а не что-нибудь другое, оказывались наиболее ладной и вещественной стороной его бытия.

Итак: не воспрещается верить в бессмертие души, но есть страшный и, кажется, никем еще не поставленный вопрос (думал Граф, сидя в пивной): не сопряжен ли

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
переход души в загробную жизнь с такою же возможностью случайных помех и превратностей, какая подстерегает человека при его земном рождении? Не содействует ли успешности этого перехода принятие во время жизни тех или иных (но каких именно?) психических или даже физических мер. Как угадать, чем заpastись, что накопить, чего избегать? Не является ли религия (рассуждал Граф, сидя в опустевшей, темнеющей пивной, где уже стулья ложились, зевая, на столы, ложились спать), религия, развешивающая иконы по стенам жизни, не является ли она вот такой попыткой создать благоприятственную обстановку, – точно так же, как, по мнению иных врачей, фотографии миловидных и упитанных младенцев, украшая спальню беременной, отлично действуют на плод? Но даже если нужные меры приняты, даже если известно, почему Икс (питавшийся тем-то и тем-то – молоком, музыкой, мало ли чем) благополучно перешел в загробную жизнь, а Игрек (питавшийся чуть-чуть иначе) застрял и погиб, – нет ли еще и еще случайностей, которые могут произойти уже при самом переходе, – напортить, помешать, – вот ведь звери, да и люди попроще, отходят в сторонку, когда приближается их час, – не мешайте, не мешайте трудной, опасной работе, дайте мне спокойно разрешиться бессмертной моей душой...

Все это удручало Графа, но еще подлее и ужаснее была мысль, что будущего века нет, что человеческая жизнь лопается так же непоправимо, как пузыри, которые пляшут и исчезают в бурной бадье под пастью водостока, – Граф смотрел на них с веранды загородного кафе, – шел сильный дождь, дело уже было осенью, уже минуло четыре месяца с того дня, как он вступил в роковой возраст, смерть могла явиться с минуты на минуту, и чрезвычайно рискованны были эти поездки в унылые, боровые окрестности Берлина. «Но если, – рассуждал Граф, – загробной жизни нет, то отпадает и все прочее, что связано с понятием о самостоятельности души, – отпадает возможность предзнаменований и предчувствий, – о, да, будем материалистами, а потому: я, здоровый человек со здоровой наследственностью, проживу, по всей вероятности, еще полвека, и нечего поддаваться нервозным иллюзиям, все это лишь следствие некоторой временной растерянности моего класса, человек же бессмертен, поскольку бессмертен его класс, а великий буржуазный класс (продолжал он вслух, неприятно оживляясь), наш великий и могучий класс победит гидру пролетариата, ибо давайте тоже встанем, крепостники, лабазники и верные их трубадуры, на классовую платформу (больше бодрости), давайте, буржуа всех стран, – нет, лучше амфибрахий, – буржуи всех стран... и народов, вперед, нефтяной (или золотой?) коллектив, долой пролетарских уродов... а в рифму – деепричастие (победив, скупив?), засим еще две строфы и опять: буржуи всех стран и народов, да здравствует наш капитал, тата-татата-та... (проходов? водопроводов?), буржуйский интернационал!.. Остроумно ли это складывается? Смешно ли?»

Наступила зима. Граф занял несколько десятков марок у соседа и употребил их на то, чтобы плотно питаться, ибо не собирался давать судьбе никаких поблажек. Этот странный сосед, сам (сам!) предложивший ему денежную помощь, поселился тут недавно, – снимал он две лучших комнаты в квартире, звали его Иван Иванович Энгель, полноватый такой господин с седыми кудрями, вроде музыкального или шахматного маэстро, – на самом же деле представитель какой-то иностранной фирмы, – очень иностранной, – дальневосточной, быть может. Встречаясь с Графом в коридоре, он участливо и застенчиво улыбался, и Граф объяснял это тем, что сосед, будучи, вероятно, человеком коммерческим, неинтеллигентным, далеким от литературы и прочих горных курортов человеческого духа, невольно питает к нему, мечтателю, некое сладостное уважение. Вообще же у Графа было слишком много хлопот, чтобы заниматься соседом, но он рассеянно пользовался его добротой, в часы нестерпимого ночного беспаяпия, например, стучался к Ивану Ивановичу и получал сигару, но с ним не яшался, не пускал его к себе в комнату (кроме того случая, когда перегорела лампочка, а хозяйка отлучилась в кинематограф, и сосед принес новенькую стеклянную грушу и деликатно ее наверхтел).

На Рождестве Граф был у друзей на елке и сквозь пестрый разговор безнадежно думал о том, что елку видит в последний раз. Как-то, в ясную февральскую ночь, он засмотрелся на твердь и вдруг почувствовал, что больше не может выдержать бремя и напор своего человеческого сознания, этой зловещей, бессмысленной роскоши. У него отвратительно захватило дыхание, и чудовищное звездное небо тронулось и поехало. Граф отошел от окна и, держась за сердце, выбрался в коридор, постучался к соседу. Иван Иванович с кроткой улыбкой и легким немецким акцентом дал ему валерьянки: так случилось, что, когда Граф вошел, Иван Иванович, стоя посреди спальни, как раз капал в рюмку, – вероятно, для себя

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru самого: держа рюмку в правой руке и высоко подняв левую, с темно-желтой бутылочкой, молча шевелил губами, – двенадцать, тринадцать, четырнадцать, – и потом очень быстро, будто семена, – пятнадцатнадцать, – и опять – медленно. Канареечного цвета халат, пенсне на кончике внимательного носа.

А еще через некоторое время настала весна, и на лестнице запахло мастикой. В доме напротив кто-то умер, и у двери стоял похоронный, черный, чем-то похожий на рояль, автомобиль. Графа донимали по ночам многозначительные сны. Во всем ему мерещилась примета, малейшее совпадение пугало его. Игра случая есть логика судьбы: в самом деле, как же не поверить в судьбу, в непогрешимость ее подсказки, в упрямство ее устремления, ежели транспарант ее постоянно просвечивает сквозь почерк жизни?

Чем больше уделять внимания совпадениям, тем чаще они происходят. Дошло до того, что, выбросив как-то кусок газеты, из которой он, любитель описок, вырезал квадратик со строкой «после долгой и продолжительной болезни», Граф через несколько дней увидел эту же, с аккуратным оконцем, страницу в руках уличной торговки, заворачивавшей для него кочан капусты. Он покорно взял сверток и вернулся домой в подавленном настроении, а вечером, из-за далеких крыш, поглотив первые звезды, вздулась мутная, злокачественная туча, и стало вдруг так душно и тяжело, точно несешь на хребте вверх по лестнице огромный кованный сундук, – и вот, без предупреждения, небо утратило равновесие, и огромный этот сундук загремел вниз по ступеням. Граф поспешно закрыл окно и задернул шторы: ведь сквозняк и электрический свет привлекают молнию. Вот она озарила шторы, и он, домашним способом определяя дальность ее падения, принялся считать, – гром ударил на шести, – шесть, значит, верст... Гроза усилилась. Сухие грозы – самые страшные. По стеклам проходил гул. Граф лег в постель, но вдруг так ясно вообразил, как молния сейчас попадет в крышу и пройдет насквозь через все этажи, обратив его мимоходом в судорожно скрюченного негра, – что с бьющимся сердцем вскочил (окно полыхнуло, черный крест рамы скользнул по стене) и, сильно звякая в темноте, снял с умывальника на пол пустой фаянсовый таз, стал в него и так простоял, вздрагивая и скрипя пальцами босых ног по фаянсу, добрую часть ночи, пока не угомонился гром.

В эту майскую грозу Граф дошел до самых унижительных глубин трансцендентальной трусости, а на следующий день произошел перелом. Граф посмотрел на веселое, ярко-голубое небо, на древообразные узоры темной сырости поперек сохнувшего асфальта и внезапно сообразил, что до девятнадцатого июня остается всего месяц. Девятнадцатого июня (по новому стилю) ему будет тридцать четыре года. Желанный брег... Доплывет ли? Додержится ли?

Появилась надежда на спасение. Он ободрился, решив принять некоторые чрезвычайные меры для ограждения своей жизни от притязаний рока. Он перестал выходить на улицу. Он не брился. Он сказался больным, и хозяйка покупала для него продукты, а сосед передавал ему через нее то апельсин, то журнал, то слабительный порошок в кокетливом конвертике. Он мало курил, много спал, в меру питался, решал крестословицы, дышал через нос и на ночь раскладывал на коврике около кровати мокрое полотенце, дабы сразу проснуться от холодка, ежели тело его в лунатическом трансе вздумает уйти из-под надзора мысли.

Додержится ли?.. Первое июня. Второе. Третье. Десятого сосед через дверь справился о его здоровье. Одиннадцатое. Двенадцатое. Тринадцатое. Как знаменитый финский бегун[26] перед последним кругом бросает прочь никелевые часы, по которым рассчитывал свой ровный сильный бег, так Граф, увидя близкую цель, круто изменил образ действия. Он сбрил соломенную бородку, принял ванну и пригласил на девятнадцатое гостей.

Он не поддавался соблазну праздновать рождение на один день раньше, как лукаво предлагала ему сомнительная выкладка. Зато он написал матери в Смоленск, прося сообщить точный час его появления на свет, но она ответила уклончиво: «Это было ночью. Я, помнится, очень страдала».

Наступило девятнадцатое. С утра за стеной беспокойно ходил сосед и выбегал в прихожую на звонки. Граф не пригласил его, – в конце концов, они были едва знакомы, – но зато позвал хозяйку, ибо в природе Графа причудливо совмещались рассеянность и расчет. Под вечер он вышел, купил водки, пирожков с мясом,

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru селедки, черного хлеба. Когда он возвращался наискось через улицу, с трудом придерживая непокорные покупки, Иван Иванович, освещенный желтым солнцем, глядел на него с балкона.

Около восьми, как раз когда Граф, все приготовив на столе, высунулся в окно, произошло следующее: на углу, где был трактир, собралась кучка людей, раздались громкие, злые крики, и вдруг – треск выстрелов. Графу показалось, что шальная пуля пропела у самого его лица, чуть не разбив очков, и он, ахнув, втянул голову. Из прихожей донесся звонок. Граф, дрожа, открыл дверь, и одновременно выскочил в канареечном своем халате Иван Иванович. Жданная телеграмма. Иван Иванович жадно ее развернул и радостно улыбнулся.

– Was dort für skandale?[27]– обратился Граф к нарочному, но тот не понял, а когда Граф опять (очень осторожно) посмотрел в окно, то перед трактиром было уже пусто, все успокоилось, сидели швейцары у своих подъездов, горничная с голыми икрами медленно прогуливая розоватого пуделька.

К девяти собрались гости – трое русских и немка-хозяйка. Она принесла с собой ликерных рюмок и пирог собственного изделия. Была она скуластая, корявая, с веснушками на щеке, в парике фарсовой тещи, в шумящем лиловом платье. Мрачные друзья Графа – все люди тяжелые, пожилые, с различными недомоганиями, рассказы о которых странно утешали Графа, сразу напоили хозяйку, да и сами невесело охмелели. Разговор велся, конечно, по-русски, хозяйка ни слова не понимала, однако похохатывала, играла впустую плохо подведенными глазами и рассказывала что-то свое, но ее никто не слушал. Граф посматривал на часы и под столом щупал себе пульс. К полуночи водка иссякла, и хозяйка, шатаясь и помирая со смеху, принесла бутылку коньяку.

– Ну, что ж, выпьем, старая морда, – холодно обратился к ней один из гостей, и она с девической доверчивостью чокнулась с ним и потом потянулась к другому, но тот от нее отмахнулся.

На рассвете Граф выпустил гостей. В прихожей на столике валялась распечатанная телеграмма, давеча так обрадовавшая соседа. Граф рассеянно ее прочел: «Soglassen prodlenie», затем он вернулся к себе в комнату, кое-что прибрал и, зевая, со странным ощущением скуки, – точно жизнь у него рассчитана была как раз на предсказанный срок, а теперь как-то нужно все строить заново, – сел в кресло, перелистал от нечего делать потрепанную книжку – сборник анекдотов, изданный в Риге. Чем занимается ваша дочь? Она садистка. То есть? Она поет в садах. Незаметно он задремал и увидел во сне, как Иван Иванович Энгель поет в каком-то саду, плавно качая ярко-желтыми кудрявыми крыльями и, когда Граф проснулся, прелестное летнее солнце зажигало маленькие радуги в плоских хозяйских рюмках, и было все как-то мягко, и светло, и загадочно, как будто он чего-то не понял, не додумал, а теперь уже поздно, и началась другая жизнь, – все прежнее отпало, и совсем, совсем умерло пустяжное воспоминание, случайно вызванное из далекой, скромной обители, где дотягивало оно свой незаметный век.

СОВЕРШЕНСТВО

«Итак, мы имеем две линии», – говорил он Давиду бодрым, почти восторженным голосом, точно иметь две линии – редкое счастье, которым можно гордиться. Давид был нежен и туповат. Глядя, как разгораются его уши, Иванов предвидел, что не раз будет сниться ему – через тридцать, через сорок лет: человеческий сон злопамятен.

Белокурый, худой, в желтой вязаной безрукавке, стянутой ремешком, со шрамами на голых коленях и с тюремным оконцем часиков на левой кисти, Давид в неудобнейшем положении сидел за столом и стучал себя по зубам концом самопишущей ручки. Он в школе плохо учился, пришлось взять репетитора.

«Теперь обратимся ко второй линии», – говорил Иванов все с той же нарочитой бодростью. По образованию он географ, но знания его неприменимы: мертвое богатство, великолепное поместье родовитого бедняка. Как прекрасны, например, старинные карты. Дорожные карты римлян, подобные змеиной коже, длинные и узорные, в продольных полосках каналообразных морей; александрийские, где Англия и Ирландия, как две колбаски; карты христианского средневековья, в пунцовых и

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru травяных красках, с райским востоком наверху и с Иерусалимом – золотым пупом мира – посредине. Чудесные странствия: путешествующий игумен[28] сравнивает Иордан с родной черниговской речкой, царский посланник заходит в страну, где люди гуляют под желтыми солнышками[29], тверской купец пробирается через густой женгель[30], полный обезьян, в знойный край, управляемый голым князем. Островок вселенной растет: новые робкие очертания показываются из легендарных туманов, медленно раздевается земля, и далеко за морем уже проступает плечо южной Америки, и дуют с углов толстощекие ветры, из которых один в очках.

Карты картами, – у Иванова было еще много других радостей и причуд. Он долговяз, смугл, не очень молод; черная борода, когда-то надолго отрощенная и затем (в сербской парикмахерской) сбритая, оставила на его лице вечную тень: малейшая поблажка, и уже тень оживала, щетинилась. Он верным пребыл крахмальным воротничкам и манжетам; у его рваных сорочек был спереди хвостик, пристегивавшийся к кальсонам. Последнее время он принужден был бесценно носить старый, выходной черный костюм, обшитый тесьмой по отворотам (все остальное истлело), и иногда, в пасмурный день, при нетребовательном освещении, ему казалось, что он одет хорошо, строго. В галстук была какая-то фланелевая внутренность, которая прорывалась наружу, приходилось подрезывать, совсем вынуть было жалко.

Он отправлялся около трех пополудни на урок к Давиду развинченной, подпрыгивающей походкой, подняв голову, глотая молодой воздух раннего лета, и перекачивая его большой, уже за утро оперившийся кадык. Однажды юноша в крагах, шедший по другой стороне, тихим свистом подозвал его рассеянный взгляд и, подняв вверх подбородок, прошел так несколько шагов: исправляю своеобразие ближнего. Но Иванов не понял этой назидательной мимики и, думая, что ему указывают явление в небе, доверчиво посмотрел еще выше, чем обычно, и действительно: дружно держась за руки, там плыли наискось три прелестных облака; третье понемногу отстало, и его очертание и очертание руки, еще к нему протянутой, медленно утратили свое изящное значение.

Все казалось прекрасным и трогательным в эти первые жаркие дни: голенастые девочки, игравшие в классы, старики на скамейках, зеленое конфетти семян, которое сыпалось с пышных лип всякий раз, как потягивался воздух. Одиноко и душно было в черном; он снимал шляпу, останавливался, озирался. Порою, глядя на трубочиста, равнодушного носителя чужого счастья, которого трогали суверенной рукой мимо проходившие женщины, или на аэроплан, обгонявший облако, он принимался думать о вещах, которых никогда не узнает ближе, о профессиях, которыми никогда не будет заниматься, – о парашюте, распускающемся, как исполинский цветок, о беглом и рябом мире автомобильных гонщиков, о различных образах счастья, об удовольствиях очень богатых людей среди очень живописной природы. Его мысль трепетала и ползла вверх и вниз по стеклу, отделяющему ее от невозможного при жизни совершенного соприкосновения с миром. Страстно хотелось все испытать, до всего добраться, пропустить сквозь себя пятнистую музыку, пестрые голоса, крики птиц и на минуту войти в душу прохожего, как входишь в свежую тень дерева. Неразрешимые вопросы занимали его ум: как и где моются трубочисты после работы; изменилась ли за эти годы русская лесная дорога, которая сейчас вспомнилась так живо.

Когда наконец – с привычным опозданием – он поднимался на лифте, ему казалось, что он медленно растет, вытягивается, а дойдя головой до шестого этажа, вбирает, как пловец, поджатые ноги. Вернувшись к нормальному росту, он входил в светлую комнату Давида.

Давид во время урока любил колупать что-нибудь; впрочем, был довольно внимателен. По-русски он изъяснялся с трудом и скукой, и если надобно было выразить важное или когда с ним говорила мать, переходил сразу на немецкий. Иванов, знавший местный язык дурно, объяснял математику по-русски, а учебник был, конечно, немецкий, так что получалась некоторая путаница. Глядя на отороченные светлым пушком уши мальчика, он пытался представить себе степень тоски и ненависти, возбуждаемых им в Давиде, ему делалось неловко, он видел себя со стороны, нечистую, раздраженную бритвой кожу, лоск черного пиджака, пятна на обшлагах, слышал свой фальшиво оживленный голос, откашливание и даже то, что Давид слышать не мог, – неуклюжий, но старательный стук давно больного сердца. Урок кончался, Давид спешил показать что-нибудь – автомобильный преискуртант, кодак, винтик, найденный на улице, – и тогда Иванов старался изо всех сил проявить смышленное участие, но увы, он был не вхож в тайное содружество вещей,

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru зовущееся техникой, и при ином неметком его замечании Давид направлял на него бледно-серые свои глаза с недоумением и затем быстро отбирал расплакавшийся в ивановских руках предмет.

И все же Давид был нежен. Его равнодушие к необычному объяснялось так: я сам, должно быть, казался трезвым и суховатым отроком, ибо ни с кем не делился своими мечтами, любовью, страхами. Мое детство произнесло свой маленький, взволнованный монолог про себя. Можно построить такой силлогизм: ребенок – самый совершенный вид человека; Давид – ребенок; Давид – совершенен. С такими глазами нельзя только думать о стоимости различных машин или о том, как набрать побольше купончиков в лавке, чтобы даром получить товару на полтинник. Он копит и другое – яркие детские впечатления, оставляющие свою краску на перстах души. Молчит об этом, как и я молчал. Когда же, в каком-нибудь 1970 году (они похожи на телефонные номера, эти цифры еще далеких годов), ему попадет картина, – Бонзо, пожирающий теннисный мяч, – которая висит сейчас в его спальне, он почувствует толчок, свет, изумление пред жизнью. Иванов не ошибался – глаза Давида и впрямь не лишены были некоторой дымки. Но это была дымка затаенного озорства.

Входит мать Давида. Она желтоволосая, нервная, вчера изучала испанский язык, нынче питается апельсиновым соком. «Я хотела бы с вами поговорить. Сидите, пожалуйста. Давид, уходи. Вы кончили заниматься? Давид, уходи. Я хочу с вами поговорить вот о чем. Скоро у него каникулы. Было бы желательно его отправить на морской шtrand[31]. К сожалению, я сама не сумею поехать. Вы бы взялись? Я вам доверяю, и он вас слушается. Главное, я хочу, чтобы он побольше разговаривал по-русски, а так – он маленький спортсмен, как все современные дети. Ну что, как вы на это смотрите?»

С сомнением. Но сомнения своего Иванов не выразил. Последний раз он видел море восемнадцать лет тому назад, студентом. Мерикюль и Гунгербург[32]. Сосны, пески, далекая, бледно-серебристая вода, пока дойдешь до нее, пока она сама дойдет до колен... Это будет все то же море, Балтийское, но с другого бока. А плывал я последний раз не там, а в реке Луге. Мужики выбегали из воды, раскорякой, прикрываясь ладонями с грубым целомудрием. Стуча зубами, надевали рубахи прямо на мокрое тело. Хорошо купаться под вечер, да еще когда расширяются тихие круги теплого дождя. Но я люблю чувствовать присутствие дна. Как трудно потом обуться, не испачкав ступней. Вода в ухе: прыгай на одной ноге, пока не прольется горячей слезой.

Поехали. «А вам будет жарко», – заметила на прощание Давидова мать, глядя на черный костюм Иванова (траур по другим умершим вещам). В поезде было тесно, и новый мягкий воротничок (легкая вольность, летнее баловство) обратился в тугую компресс. Давид, аккуратно подстриженный, с играющим на ветру хохолком, довольный, в трепещущей, открытой на шее рубашке, стоял у окна, высовывался, – и на поворотах появлялся полукруг передних вагонов и головы людей, облокотившихся на спущенные рамы. Потом поезд выпрямлялся опять и шел, позванивая, быстро-быстро работая локтями, сквозь букочный лес.

Дом был расположен в тылу городка, простой, двухэтажный, с кустами смородины в саду, отделенном забором от пыльной дороги. Желтобородый рыбак сидел на колоде и, щурясь от вечернего солнца, смолил сеть. Его жена провела их наверх. Оранжевый пол. Карликовая мебель. На стене внушительных размеров обломок пропеллера («мой муж служил прежде на аэродроме»). Иванов распаковал скучное свое белье, бритву, потрепанного Пушкина в издании книгопродавца Панафидиной. Давид высвободил из сетки пестрый мяч, который, ошалев от радости, чуть не сбил с этажерки рогатую раковину. Хозяйка принесла чаю и блюдо камбалы. Давид торопился, ему не терпелось увидеть море. Солнце уже садилось.

Когда через четверть часа ходьбы они спустились к морю, Иванов мгновенно почувствовал сильнейшее сердечное недомогание. В груди было то тесно, то пусто, и среди плоского, сизого моря в ужасном одиночестве чернела маленькая лодка. Ее отпечаток стал появляться на всяком предмете, а потом растворился в воздухе. Оттого что все было подернуто пылью сумерек, ему казалось, что у него помутилось зрение, а ноги странно ослабели от мягкого прикосновения песка. Где-то глухо играл оркестр, каждый звук был как бы закупорен, трудно дышалось. Давид наметил на пляже место и заказал на завтра купальную корзину. Домой пришлось идти в гору, сердце отлучалось и спешило вернуться, чтоб отбухать свое и вновь

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru удалиться, и сквозь эту боль и тревогу крапива у заборов напоминала Гунгербург.

Белая пижама Давида. Иванов из экономии спал нагишом. От земляного холодка чистых простынь ему сперва стало еще хуже, но вскоре полегчало. Луна ощупью добралась до умывальника и там облюбовала один из facetsов стакана, а потом поползла по стене. И в эту ночь, и в следующие Иванов смутно думал о многих вещах зараз и между прочим представлял себе, что мальчик, спящий на соседней кровати, – его сын. Десять лет тому назад, в Сербии, единственная женщина, которую он в жизни любил, чужая жена, забеременела от него, выкинула и через ночь, молясь и бредя, скончалась. Был бы сын, мальчишка такого же возраста. Когда по утрам Давид надевал купальные трусики, Иванова умиляло, что его кофейный загар внезапно переходит у поясицы в детскую белизну. Он было запретил Давиду ходить от дома до моря в одних трусиках и даже несколько потерялся, и не сразу сдался, когда Давид, с протяжными интонациями немецкого удивления, стал доказывать ему, что так он делал прошлым летом, что так делают все. Сам Иванов томился на пляже в печальном образе горожанина. От солнца, от голубого блеска поташнивало, горячие мурашки бегали под шляпой по темени, он живьем сгорал, но не снимал даже пиджака, ибо, как многие русские, стеснялся «появляться при дамах в подтяжках», да и рубашка вконец излохмотилась. На третий день он вдруг решился и, озираясь исподлобья, разулся. Устроившись посредине глубокой воронки, вырытой Давидом, и подложив под локоть газетный лист, он слушал яркое, тугое хлопанье флагов, а то, бывало, с какой-то нежной завистью глядел поверх песчаного вала на тысячу коричневых трупов, по-разному сраженных солнцем, и была одна девушка, великолепная, литая, загоревшая до черноты, с поразительно светлым взором и бледными, как у обезьяны, ногтями, – и глядя на нее, он старался вообразить, какое это чувство быть такой. Давид, получив позволение искупаться, шумно пускался вплавь, а Иванов подходил к самому приплеску и зорко следил за Давидом, и вдруг отскакивал: волна, разлившись дальше предтечи, облила ему штаны. Он вспомнил студента в России, близкого своего приятеля, который умел так швырнуть камень, что тот дважды, трижды, четырежды подпрыгивал на воде, но когда он захотел показать Давиду, как это делается, камень пробил воду, громко бултыхнув, Давид же рассмеялся и пустил так, что вышло не четыре прыжка, а по крайней мере шесть. Как-то, через несколько дней, он по рассеянности (взгляд побежал, и когда он спохватился, было поздно) прочел открытку, которую Давид начал писать матери и забыл на подоконнике. Давид сообщал, что учитель, должно быть, болен, не купается. В тот же день Иванов принял чрезвычайные меры. Он приобрел черный купальный костюм и, придя на пляж, спрятавшись в корзину, с опаской разделся, натянул на себя дешевой галантереией пахнущее трико. Была минута грустного замешательства, когда он вылез на солнце, – бледнокожий, с мохнатыми ляжками. Все же Давид посмотрел на него с одобрением.

– Ну-с, – бодро воскликнул Иванов, – чем черт не шутит!

Войдя до поджилок в воду, он сначала смочил голову, пошел дальше, раскинув руки, и чем выше поднималась вода, тем смертельнее сжималось сердце. Наконец, набрав воздуха, заткнув уши большими пальцами, а остальными прикрыв глаза, он присел, окунулся. Ему сделалось так плохо, что пришлось спешно из воды выбраться. Он лег на песок, дрожа от холода, и весь полный какой-то страшной, ничем не разрешающейся тоски. Его согрело солнце, он слегка отошел, но зарекся купаться. Было лень одеваться, он жмурился, по красному фону скользили оптические пятнышки, скрещивались марсовы каналы, а стоило чуть разжать веки, и влажным серебром переливалось между ресниц солнце.

Случилось неизбежное. Все, что было у него обнажено, превратилось к вечеру в симметричный архипелаг огненной боли.

– Мы сегодня вместо пляжа пойдем гулять в лес, – сказал он на следующий день Давиду.

– Ах, нет, – ноющим голосом протянул Давид.

– Избыток солнца вреден, – сказал Иванов.

– Но я прошу вас, – затосковал Давид. Иванов, однако, настоял на своем.

Лес был густой, со стволов спархивали окрашенные под кору пяденицы. Давид шел молча и нехотя.

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
– Мы должны любить лес, – говорил Иванов, стараясь развлечь воспитанника. – Это первая родина человека. В один прекрасный день человек вышел из чащи дремучих наитий на светлую поляну разума. Черника, кажется, поспела, разрешаю попробовать. Чего ты дуешься, – пойми, следует разнообразить удовольствия. Да и нельзя злоупотреблять купанием. Как часто бывает, что неосторожный купальщик гибнет от солнечного удара или от разрыва сердца.

Иванов потерял спину, – она нестерпимо горела и чесалась, – о ствол дерева и задумчиво продолжал:

– Любуясь природой данной местности, я всегда думаю о тех странах, которых не увижу никогда. Представь себе, Давид, что мы сейчас не в Померании, а в Малайском лесу. Смотри, сейчас пролетит редчайшая птица птеридофора с парой длинных, из голубых фестонов состоящих, антенн на голове.

– Ах, кватч, – уныло сказал Давид.

– По-русски надо сказать «ерунда» или «чушь». Конечно, это ерунда. Но в том-то и дело, что при известном воображении... Если когда-нибудь ты, не дай Бог, ослепнешь или попадешь в тюрьму, или просто в страшной нищете будешь заниматься гнусной, беспросветной работой, ты вспомнишь об этой нашей прогулке в обыкновенном лесу, как – знаешь – о сказочном блаженстве.

На закате распушились темно-розовые тучи, которые рыжели по мере угасания неба, и рыбак сказал, что завтра будет дождь, – однако утро выдалось дивное, безоблачное, и Давид торопил Иванова, которому немоглось, хотелось валяться в постели и думать о каких-то далеких, неясных полусобытиях, освещенных воспоминанием только с одного бока, о каких-то дымчатых, приятных вещах, – быть может, когда-то случившихся, или близко проплывших когда-то в поле жизни, или еще в эту ночь явившихся ему во сне. Но невозможно было сосредоточить мысль на них – все ускользало куда-то в сторону, полуоборотясь с приветливым и таинственным лукавством, – ускользало неудержимо, как те прозрачные узелки, которые наискось плывут в глазах, если прищуриться. Увы, надо было вставать, надо было натягивать носки, столь дырявые, что напоминали митенки. Прежде, чем выйти из дому, он надел Давидовы желтые очки, и солнце упало в обморок среди умершего смертью бирюзы неба, и утренний свет на ступенях крыльца принял закатный оттенок. Темно-желтый голый Давид побежал вперед; когда же Иванов его окликнул, он раздраженно повел плечами.

– Не убегай, – устало сказал Иванов; его кругозор сузился вследствие очков, он боялся возможных автомобилей.

Пологая улица сонно спускалась к морю. Понемногу глаза привыкли к стеклам, и он перестал удивляться защитному цвету солнечного дня. На повороте улицы что-то вдруг наполовину вспомнилось, – необыкновенно отрадное и странное, – но оно сразу зашло, и сжалась грудь от тревожного морского воздуха. Смуглые флаги возбужденно хлопали и указывали все в одну сторону, но там еще не происходило ничего. Вот песок, вот глухой плеск моря. В ушах заложено, и если потянуть носом, – гром в голове, и что-то ударяется в перепончатый тупик. «Я прожил не очень долго и не очень хорошо, – мельком подумал Иванов, – а все-таки жаловаться грех, этот чужой мир прекрасен, и я сейчас был бы счастлив, только бы вспомнилось то удивительное, такое удивительное, – но что?»

Он опустил на песок. Давид деловито принялся подправлять лопатой слегка осыпавшийся вал.

– Сегодня жарко или прохладно? – спросил Иванов. – Что-то не разберу.

Погодя Давид бросил лопату и сказал:

– Я пойду купаться немного.

– Посиди минуту спокойно, – проговорил Иванов. Мне надо собраться с мыслями. Море от тебя не уйдет.

– Пожалуйста, – протянул Давид.

Иванов приподнялся на локте и посмотрел на волны. Они были крупные, горбатые,

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
никто в этом месте не купался, только гораздо левее попрыгивало и скопом прокатывалось вбок с дюжину оранжевых голов.

– Волны, – со вздохом сказал Иванов и потом добавил: – Ты походи в воде, но не дальше, чем на сажень. В сажени около двух метров.

Он склонил голову, подперев щеку, пригорюнившись, высчитывая какие-то меры жизни, жалости, счастья. Башмаки были уже полны песку, он их медленно снял, после чего снова задумался, и снова поплыли неуловимые прозрачные узелки, – и так хотелось вспомнить, так хотелось... Внезапный крик. Иванов выпрямился.

В желто-синих волнах, далеко от берега, мелькнуло лицо Давида с темным кружком разинутого рта. Раздался захлебывающийся рев, и все исчезло. Появилась на миг рука и исчезла тоже. Иванов скинул пиджак.

– Я иду, – крикнул он, – я иду, держись!

Он зашлепал по воде, упал, ледяные штаны прилипли к голени, ему показалось, что голова Давида мелькнула опять, в это мгновение хлынула волна, сбила шляпу, он ослеп, хотел снять очки, но от волнения, от холода, от томительной слабости во всем теле не мог с ними справиться, почувствовал, что волна, отступив, оттянула его на большое расстояние от берега, и поплыл, стараясь высмотреть Давида. Тело было в тесном, мучительно-холодном мешке, нечем было дышать, сердце напрягалось невероятно. Внезапно сквозь него что-то прошло, как молниевидный перебор пальцев по клавишам, – и это было как раз то, что все утро он силился вспомнить. Он вышел на песок. Песок, море и воздух окрашены были в странный цвет, вялый, матовый, и все было очень тихо. Ему смутно подумалось, что наступили сумерки и что теперь Давид давно погиб, и он ощутил знакомый по прошлой жизни острый жар рыданий. Дрожа и склоняясь к пепельному песку, он кутался в черный плащ со змеевидной застежкой, который видел некогда на приятеле-студенте, в осенний день, давным-давно, – и так жаль было матери Давида, – и что ей сказать: я не виноват, я сделал все, чтобы его спасти, но я дурно плаваю, у меня слабое сердце, и он утонул... Что-то однако было не так в этих мыслях, – и осмотревшись, увидя только пустынную муть, увидя, что он один, что нет рядом Давида, он вдруг понял, что, раз Давида с ним нет, значит, Давид не умер.

Только тогда были сняты тусклые очки. Ровный, матовый туман сразу прорвался, дивно расцвел, грянули разнообразные звуки – шум волн, хлопанье ветра, человеческие крики, – и Давид стоял по щиколки в яркой воде, не знал, что делать, трясся от страха и не смел объяснить, что он барахтался в шутку, а поодаль люди ныряли, ощупывали до дна воду, смотрели друг на друга выпученными глазами и ныряли опять, и возвращались ни с чем, и другие кричали им с берега, советовали искать левее, и бежал человек с краснокрестной повязкой на рукаве, и трое в фуфайках сталкивали в воду скрежещущую лодку, и растерянного Давида уводила полная женщина в пенсне, жена ветеринара, который должен был приехать в пятницу, но задержался, и Балтийское море искрилось от края до края, и поперек зеленой дороги в поредевшем лесу лежали, еще дыша, срубленные осины, и черный от сажи юноша, постепенно белея, мылся под краном на кухне, и над вечным снегом Новозеландских гор порхали черные попугайчики, и, шурясь от солнца, рыбак важно говорил, что только на девятый день волны выдадут тело.

КРАСАВИЦА

Ольга Алексеевна, о которой сейчас будет речь, родилась в 1900 году в богатой, беспечной, дворянской семье. Бледная девочка в белой матроске, с косым пробором в каштановых волосах и такими веселыми глазами, что ее все целовали в глаза, она с детства слыла красавицей: чистота профиля, выражение сложенных губ, шелковистость косы, доходившей до спинной впадинки, – все это и в самом деле было очаровательно.

Нарядно, покойно и весело, как исстари у нас повелось, прошло это детство: луч усадебного солнца на обложке *Bibliothèque Rose*[33], классический иней петербургских скверов. Запас таких воспоминаний и составил то единственное приданое, которое оказалось у нее по выходе из России весной 1919 года. Все было в полном согласии с эпохой: мать умерла от тифа, брата расстреляли, – готовые формулы, конечно, надоевший говорок, – а ведь все это было, было, иначе не скажешь, – нечего нос воротить.

Итак, в 1919 году перед нами взрослая барышня, с большим бледным лицом, перестаравшимся в смысле правильности, но все-таки очень красивым; высокого роста, с мягкой грудью, всегда в черном джемпере; шарф вокруг белой шеи и английская папироса в тонкоперстой руке с выдающейся косточкой на запястье.

А была в ее жизни пора, – на исходе шестнадцатого года, что ли, – когда, летом, в дачном месте близ имения, не было гимназиста, который не собирался бы из-за нее стреляться, не было студента, который... Одним словом: особенное обаяние, которое, продержись оно еще некоторое время, натворило бы... нанесло бы... Но как-то ничего из этого не вышло, – все было как-то не так, зря: цветы, которые лень поставить в воду; прогулки в сумерки то с этим, то с тем; тупики поцелуев.

Она свободно говорила по-французски, произнося «жанс», «ау»[34]; наивно переводя «грабежи» словом «grabuges»[35]; употребляя какие-то старосветские речения, застрявшие в старых русских семьях; но очень убедительно картавя, – хотя во Франции не бывала никогда. Над комодом в ее берлинской комнате была пришпилена булавкой с головкой под бирюзу открытка – серовский портрет Государя. Она была набожна, но, случалось, и в церкви находил на нее смехотун. С жуткой легкостью, свойственной всем русским барышням ее поколения, она писала – патристические, шуточные, какие угодно – стихи.

Лет шесть, то есть до 1926 года, она проживала в пансионе на Аугсбургерштрассе (там, где часы) вместе со своим отцом, плечистым, бровастым, желтоусым стариком, на тонких ногах в узеньких брючках. Он служил в каком-то оптимистическом предприятии; славился порядочностью, добротой; был не дурак выпить.

У Ольги Алексеевны набралось довольно много знакомых, все русская молодежь. Завелся особый лихой тончик. «Пошли в кинемоньку». «Вчера ходили в диллю»[36]. Был спрос на всяческие присловицы, прибаутки, подражания подражаниям. «Не котлеты, а мрак». «Кого-то нет, кого-то жаль...» (Или – сдавленным голосом, с надсадом: «Гас-спада-офицеры...»).

У Зотовых в жарко натопленных комнатах она лениво танцевала фокстрот под граммофон, передвигая не без изящества длинную ляжку, держа на отлете докуренную папиросу и, когда глазами находила вращающуюся от музыки пепельницу, совала туда окурок, не останавливаясь. Как прелестно, как многозначительно, бывало, поднимала она к губам бокал, за тайное здоровье третьего лица, – сквозь ресницы глядя на доверившегося ей. Как любила в углу на диване обсуждать с тем или с другим чьи-нибудь сердечные обстоятельства, колебание шансов, вероятность объяснения, – и все это полусловами, и как сочувственно при этом улыбались ее чистые глаза, широко раскрытые, с едва заметными веснушками на тонкой сизовой коже под ними и вокруг них... Однако в нее самое никто не влюблялся, и потому запомнился хам, который на благотворительном балу залапал ее, и плакал у нее на голом плече, и был вызван на дуэль маленьким бароном Р., но отказался драться. Кстати, слово «хам» Ольга Алексеевна употребляла очень часто и по всякому поводу: «Хамы», грудью выпевала она, лениво и ласково, «Какой хам»... «Это же хамы...»

Но вот жизнь потемнела; что-то кончилось, уже вставали, чтобы уходить... Как скоро! Отец умер; она переехала на другую улицу; перестала бывать у знакомых; вязала шапочки и давала дешевые уроки французского языка в каком-то дамском клубе; так дотянула до тридцати лет.

Это была теперь все та же красавица с очаровательным разрезом широко расставленных глаз и той редчайшей линией губ, в которой как бы уже заключена вся геометрия улыбки. Но волосы потеряли лоск, были плохо подстрижены, черному костюму пошел четвертый год, руки с блестящими, но неряшливыми ногтями были в выпуклых жилках и дрожали от нервности, от хулиганского курения, – и лучше умолчим о состоянии чулок.

Теперь, когда в сумке шелковые внутренности были так изодраны – (по крайней мере всегда была надежда найти беглый грош); теперь, когда такая усталость –; теперь, когда, надевая единственные башмаки, она заставляла себя не думать об их подошвах, точно так же как, входя наперекор чести в табачную лавку, запрещала себе думать, сколько уже там задолжала; теперь, когда не было ни малейшей надежды вернуться в Россию, а ненависть сделалась столь привычной, что почти

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru перестала быть грехом; теперь, когда солнце зашло за трубу, – Ольга Алексеевна терзалась иногда роскошью каких-то реклам, написанных слюной Тантала[37], воображая себя богатой, вон в том платье, набросанном при помощи трех-четырех наглых линий, на той палубе, под той пальмой, у балюстрады белой террасы. Ну и еще кое-чего ей доставало.

Однажды, едва ее не сбив с ног, из телефонной будки вихрем вымахнула Верочка, подруга прежних лет, как всегда спешащая, с пакетами, с мохноглазым терьером, поводок которого обвился дважды вокруг ее юбки. Она накинулась на Ольгу Алексеевну, умоляя ее приехать к ним на дачу, говоря, что это судьба, что это замечательно, и как тебе живется, и много ли поклонников. «Нет, матушка, годы не те, – отвечала Ольга Алексеевна, – да кроме того...» Она прибавила маленькую подробность, и Верочка покатила со смеху, склоняя пакеты до земли. «Серьезно», – сказала Ольга Алексеевна с улыбкой. Верочка продолжала уговаривать ее, дергая терьера, вертясь. Ольга Алексеевна, вдруг заговорив в нос, заняла у нее денег.

Верочка была мастерица устраивать всякие штуки, будь то крешон, виза или свадьба. Теперь она с упоением занялась судьбой Ольги Алексеевны. «В тебе проснулась сваха», – шутил ее муж, пожилой балтиец, – обритая голова, монокль. В яркий августовский день приехала Ольга Алексеевна, была мгновенно переодета в Верочкино платье, перечесана, перекрашена, – она лениво ругалась, но уступала, – и как празднично стреляли половицы в веселой дачке, как вспыхивали в зеленом плодовом саду висячие зеркальца для остротки птиц! Приехал на неделю погостить некто Форсман, русский немец, состоятельный вдовец, спортсмен, автор охотничьих книг. Он сам давно просил Верочку подыскать ему невесту – «настоящую русскую красоту». У него был крупный, крепкий нос, с тончайшей розовой венкой на высокой горбинке. Он был вежлив, молчалив, минутами даже угрюм, – но умел тотчас же, как-то под шумок, подружиться навеки с собакой или с ребенком.

С его приездом на Ольгу Алексеевну напала дурь; вялая и злая, она все делала не то, что следовало, – и сама чувствовала, что не то, – и когда речь заходила о бывшей России (Верочка старалась заставить ее блеснуть прошлым), ей казалось, что она все врет, и что все понимают, что она врет, – и потому она упорно не говорила всего того, что Верочка старалась напоказ из нее извлечь, да и вообще не давала ничему наладиться. Хлопали в карты на веранде и толпой гуляли в лесу, – но Форсман все больше разговаривал с Верочкиным мужем, вспоминая какие-то проделки юности, и оба докрасна наливались смехом и, отстав, падали на мох. Накануне отъезда Форсмана играли как всегда по вечерам в карты на веранде; вдруг Ольга Алексеевна почувствовала невозможное сжатие в горле, – ей удалось все же улыбнуться и без особого спеха уйти. К ней стучалась Верочка, но она не открыла. Среди ночи перебив соннице сонных мух в низкой комнате и так накурившись, что уже не могла затягиваться, Ольга Алексеевна, в раздражении, в тоске, ненавидя себя и всех, вышла в сад; там трещали сверчки, качались ветви, изредка падало с тугим стуком яблоко, и луна делала гимнастику на белой стене курятника. Рано утром она вышла опять и села на уже горячую ступень. Форсман в синем купальном халате сел рядом с ней и, кашлянув, спросил, согласна ли она стать его супругой – так и сказал: «супругой». Когда они пришли к завтраку, то Верочка, ее муж и его кузина, совершенно молча, в разных углах танцевали несуществующие танцы, и Ольга Алексеевна ласково протянула: «Вот хамы», – а следующим летом она умерла от родов. Это все. То есть, может быть, и имеется какое-нибудь продолжение, но мне оно неизвестно, и в таких случаях, вместо того, чтобы теряться в догадках, повторяю за веселым королем из моей любимой сказки: Какая стрела летит вечно? – Стрела, попавшая в цель.

ОПОВЕЩЕНИЕ

У Евгении Исаковны, старенькой, небольшого формата дамы, носившей только черное, накануне умер сын. Она еще ничего об этом не знала.

Шел утром дождь, дело было ранней весной, одна часть Берлина отражалась в другой, – пестрое зигзагами в плоском – и так далее. Чернобыльские, старые друзья Евгении Исаковны, получили около семи утра телеграмму из Парижа, а спустя два часа – письмо (по воздуху). Фабрикант, у которого с осени служил Миша, сообщал, что бедный молодой человек упал в пролет лифта с верхней площадки и еще после этого мучился сорок минут, был без сознания, но ужасно и непрерывно стонал – до самого конца.

Между тем Евгения Исаковна встала, оделась, накинула на острые плечи черный вязаный платок и на кухне сварила себе кофе. Истовым благоуханием своего кофе она гордилась перед фрау доктор Шварц, у которой жила, – скупой, некультурной скотиной, – с нею Евгения Исаковна вот уже целую неделю не разговаривала, – и это была далеко не первая ссора, – но съезжать не хотелось – по всяким причинам, не раз перечисленным, но никогда не скучным. Несомненное превосходство Евгении Исаковны над тем или другим лицом, с которым она решала временно прервать сношения, состояло в следующем: просто выключался слух, весь помещавшийся у нее в черном аппаратуре наподобие сумки.

Проходя с готовым кофе обратно к себе через прихожую, она увидела, как впорхнула в щель и села на пол открытка, просунутая почтальоном. Открытка была от сына, о смерти которого Чернобыльские только что получили известие более совершенными почтовыми путями, так что строки (в сущности недействительные), которые она сейчас читала, стоя на пороге своей большой нелепой комнаты, с кофейником в руке, можно было бы уподобить все еще зримым лучам звезды, уже потухшей. «Золотая моя Мулечка», писал сын, так ее звавший с детства, «я по-прежнему по горло занят и по вечерам прямо валяюсь с ног, почти не бываю нигде...»

Через две улицы, в такой же нелепой, загроможденной чужими пустяками квартире, Чернобыльский, не поехав сегодня «в город», шагал по комнатам, большой, жирный, лысый, с громадными дугами бровей и маленьким ртом, в темном костюме, но без воротничка (воротничок с продетым галстуком висел хомутом на спинке стула в столовой), шагал и говорил, разводя руками:

– Как я ей скажу? какие тут могут быть переходы, когда нужно орать? Ах ты Боже мой, какой это ужас... У ней сердце не выдержит и разорвется, у несчастной.

Его жена плакала, курила, скребла в жидких седых волосах, звонила Липштейнам, Леночке, доктору Оршанскому – и все никак не могла решиться пойти первой к Евгении Исаковне. Жилица Чернобыльских, пианистка в пенсне, с полной грудью, чрезвычайно сердобольная и опытная, советовала не слишком спешить с извещением, – все равно будет этот удар, – так пускай будет позже.

– Но с другой стороны, – вскрикивал Чернобыльский, – нельзя и откладывать! Это ясно, что нельзя. Она – мать, она еще захочет, может быть, в Париж (я знаю?), или чтобы везли сюда. Бедный, бедный Мишук, бедный мальчик, двадцать три года, вся жизнь впереди... Главное – я же советовал, я же его устроил, – подумать, что если б он в этот паршивый Париж...

– Ну что вы, Борис Львович, – рассудительно говорила жилица, – кто это мог предвидеть, при чем тут вы, это смешно. Я вообще, между прочим, не понимаю, как он мог упасть. Вы – понимаете?

Напившись кофе и вымыв свою чашку (не обращая при этом ни-ка-ко-го внимания на фрау Шварц), Евгения Исаковна, с черной сеткой для покупок и зонтиком, вышла на улицу. Дождик подумал и перестал. Закрыв зонтик, она пошла по блестящей панели – довольно еще стройная, с очень худыми ногами в черных чулках, из которых левый был плохо подтянут; ступни же казались несоразмерно большими, и она их ставила носками врозь, чуть прищепывая. Несоединенная со своей слуховой машинкой, она была идеально глуха. Беззвучно (то есть, не выделяясь на постоянном фоне ровного полшума) передвигался кругом мир – резиновые пешеходы, ватные собаки, немые трамваи, а над всем этим – едва шуршащие по небу тучи (там и сям как бы проговаривалась лазурь). Среди общей этой тишины она проходила бесстрастная, скорее довольная, очарованная и ограниченная своею глухотой, в черном пальто, – и делала свои наблюдения, и думала о разном. Она думала о том, что завтра, в праздник, вероятно, заглянут к ней такие-то; что нужно купить тех же, как и в прошлый раз, вафелек, – да еще мармеладу в русском магазине, – и, пожалуй, десяток буше в той маленькой кондитерской, где всегда можно ручаться за свежесть... Высокий господин в котелке, шедший навстречу, показался ей издали (правда – очень издали) страшно похожим на Владимира Марковича, Идиного первого мужа, который умер один, ночью, в поезде, от сердца, а проходя мимо часовой лавки, она вспомнила, что пора зайти за Мишиными часиками, которые он с оказией прислал разбитыми из Парижа. Зашла. Бесшумно, скользко, ничего не задевая, ходили маятники, все разные, все вразброд. Она приладила свою машинку, вставила быстрым, – бывшим когда-то стыдливым – движением наконечник в ухо, и далекий голос знакомого часовщика отвечал... стал вибрировать... и опять отпал... но вдруг

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
звук подскочил, ударил: «В пятницу... В пятницу...» Хорошо, я слышу, – в пятницу. Выйдя от него, она снова разъединилась с миром. Ее карие глаза с желтизной на белках (точно слегка расплылся линючий цвет райка[38]) приняли снова спокойное, пожалуй даже веселое выражение... Она шла по знакомым улицам, ставшим для нее за эти годы почти такими же привычно занимательными, как московские или харьковские, вскользь одобряла взглядом встречаемых детей, собачек, – и вдруг зевнула на ходу – от мартовского упругого воздуха. Ужасно несчастный, с несчастным носом, в ужасной какой-то шляпе, прошел знакомый ее знакомых, о котором они всегда рассказывали что-нибудь, – и теперь она уже знала все про него: что у него ненормальная дочь, и мерзавец зять, и сахарная болезнь... Достигнув определенной торговки фруктами (открытой ею еще прошлой весной), она купила чудных бананов; затем довольно долго ждала очереди в бакалейной, глаз не спуская с профиля нахалки, пришедшей после нее, однако протиснувшейся ближе к прилавку; вот профиль раскрылся, – но тут она приняла должные меры... В кондитерской она тщательно выбирала, перегибаясь вперед, поднимаясь как ребенок на цыпочки и поводя указательным пальцем, – и черная шерстяная перчатка была с дырочкой. Не успела она выйти оттуда и заинтересоваться мужскими рубашками в витрине, как ее взяла под локоть здорово намазанная, оживленная мадам Шуф. Тогда Евгения Исаковна, глядя в пространство, проворно устроилась, включила слух, – и только войдя в мир звуков, приветливо заулыбалась. Было шумно, ветрено; мадам Шуф наклонялась и тужилась, кривя красный рот, норовя попасть острием голоса прямо в сумочку с аппаратом:

– Из Парижа – известия – имеете?

– Как же, даже очень аккуратно, – отвечала тихо Евгения Исаковна, – и добавила: – Что же вы не заходите, не звоните? – и рябь пробежала по ее глазам оттого, что тут собеседница перестаралась, крикнула слишком резко.

Они расстались. Мадам Шуф, еще ничего не зная, пошла восвояси, а ее муж, у себя в конторе, ахал, цыкал и качал головой вместе с трубкой, слушая, что говорит ему по телефону Чернобыльский.

– Моя жена уже отправилась к ней, – говорил Чернобыльский, – и я сейчас тоже пойду, но убейте меня, если я знаю, с чего начать, а жена все-таки женщина, может быть, как-нибудь сумеет подготовить почву.

Шуф предложил постепенно писать на листочке: «Болен»; «Очень болен»; «Очень, очень болен».

– Ах, я об этом тоже думал, но выходит не легче. Какое несчастье, а? Молодой, здоровый, умница каких мало... А главное, – я же ведь его там устроил, я же ведь давал на жизнь... Ну да, все это я прекрасно понимаю, но все-таки эта мысль меня с ума сводит. Так значит, мы там наверно увидимся...

Яростно и болезненно скалясь, откидывая назад толстое лицо, он наконец застегнул воротничок; со вздохом вышел из дому – и уже подходил к ее кварталу, когда впереди себя увидел ее самое, спокойно и доверчиво шедшую домой с сеткой, полной пакетов. Не смея ее нагнать, он задержал шаг, – только бы не обернулась. Эти старательные ноги, эта худая спина, еще ничего, ничего не подозревающая... Ох, согнется!

Только на лестнице она заметила его. Чернобыльский молчал, видя, что у нее ухо еще голое. Она сказала:

– Вот это действительно мило, Борис Львович... Нет, оставьте, – несла, несла, так уже донесу, – а вот если вы зонтик возьмете, тогда я открою дверь.

Они вошли. Чернобыльская и симпатичная пианистка уже давно там ждали... Сейчас начнется казнь.

Евгения Исаковна любила гостей, и гости у нее бывали часто, так что теперь она ничему не удивилась, только очень обрадовалась и сразу принялась, как говорится, хлопотать. Ее внимание привлечь было невозможно, пока она шмыгала туда и сюда, меняя направление под внезапным углом (в ней разгоралась чудесная мысль всех накормить обедом).

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Наконец пианистка поймала ее в коридоре за конец шали и слышно было, как она кричит ей, что никто-никто обедать не будет. Тогда Евгения Исаковна достала фруктовые ножи, насыпала вафелек и конфет в две вазочки... Ее насильно усадили. Чернобыльские, пианистка и как-то успевшая за это время появиться барышня Мария Осиповна, почти карлица, сели тоже. Было таким образом достигнуто хотя бы известное расположение, порядок...

– Ради Бога, ради Бога, начни как-нибудь, Боря, – сказала Чернобыльская, пряча глаза от Евгении Исаковны, которая начинала приглядываться к лицам, не переставая, впрочем, изливать ровный поток милых, бедных, совершенно беззащитных слов.

– Ну что я могу! – вскрикнул Борис Львович и, порывисто встав, заходил вокруг стола, за которым они все сидели.

Раздался звонок и торжественная фрау Шварц ввела Иду Самойловну и ее сестру, на их белых страшных лицах было какое-то сосредоточенно-жадное выражение...

– Она еще не знает, – сказал Чернобыльский, нервно расстегнул пиджак и снова застегнул его на обе пуговицы.

Евгения Исаковна, дергая бровями, но еще улыбаясь, погладила руки новым гостям и уселась опять, пригласительно поворачивая свой аппаратик, стоявший перед ней на скатерти, то к одному, то к другому, – но звуки скашивались, ломались... Вдруг пришли Шуфы, потом Соня, а там Липштейн с матерью и Оршанские, и Елена Григорьевна, и старуха Томкина, – и все говорили между собой, но от нее отворачивали речи, вместе с тем душно и нехорошо вокруг нее группируясь, и уже кто-то отошел к окну и там трясся от рыданий, и доктор Оршанский, сидя за столом, внимательно рассматривал вафельку и приставлял ее к другой, как домино, а Евгения Исаковна, уже без всякой улыбки, уже с какой-то злобой, совала свою машинку гостям... и Чернобыльский из угла комнаты, всхлипывая, орал:

– Да что там в самом деле, – умер, умер, умер! – но она уже боялась смотреть в его сторону.

Из книги «„Весна в фиальте“ и другие рассказы»

КОРОЛЕК

Собираются, стягиваются с разных мест вызываемые предметы, причем иным приходится преодолевать не только даль, но и давность: с кем больше хлопот, с тем кочевником или с этим – с молодым тополем, скажем, который рос поблизости, но теперь давно срублен, или с выбранным двором, существующим и по сей час, но находящимся далеко отсюда? Поторопитесь, пожалуйста.

Вот овальный тополек в своей апрельской пунктирной зелени уже пришел и стал, где ему приказано – у высокой кирпичной стены – целиком выписанной из другого города. Напротив вырастает дом, большой, мрачный и грязный, и один за другим выдвигаются, как ящики, плохонькие балконы. Там и сям распределяются по двору: бочка, еще бочка, легкая тень листвы, какая-то урна и каменный крест, прислоненный к стене. И хотя все это только намечено, и еще многое нужно дополнить и доделать, но на один из балкончиков уже выходят живые люди – братья Густав и Антон, – а во двор вступает, катя тележку с чемоданом и кипой книг, новый жилец – Романтовский.

Со двора, особенно если день солнечный, и окна настезь раскрыты, комнаты кажутся налитыми густой чернотой (всегда где-нибудь да бывает ночь – часть суток внутри, а часть снаружи). Романтовский посмотрел на черные окна, на двоих пучеглазых мужчин, наблюдавших за ним с балкона, и, подняв чемодан на плечо, качнувшись, точно кто хватил его по затылку, ввалился в дом. В блеске солнца остались тележка с книгами, бочка, другая бочка, мигающий тополек и надпись дегтем на кирпичной стене. Голосуйте за список номер такой-то. Ее перед выборами намалевали, вероятно, братья.

Мы устроим мир так: всяк будет потен, и всяк будет сыт. Будет работа, будет что жрать, будет чистая, теплая, светлая –

(Романтовский вселился в соседнюю. Она была еще хуже ихней. Но под кроватью он нашел гуттаперчевую куколку: тут до него жил, должно быть, семейный).

Однако, несмотря на то, что мир не обратился еще окончательно и полностью в состояние вещественности, а еще хранил там и сям области неосязаемые и неприкосновенные, братья чувствовали себя в жизни плотно и уверенно. Старший, Густав, служил на мебельном складе; младший находился временно без работы, но не унывал. Сплошь розовое лицо Густава с длинными, торчащими, льяными бровями. Его широкая, как шкаф, грудная клетка, и вечный пуловер из крутой серой шерсти, и резинки на сгибах толстых рук, – чтобы ничего не делалось спуская рукава. Оспой выщербленное лицо Антона с темными усами, подстриженными трапецией. Его красная фуфайка и жилистая худощавость. Но когда они оба облакачивались на железные перильца балкона, зады были у них точь-в-точь одинаковые – большие, торжествующие, туго обтянутые по окатам одинаковым клетчатым сукном.

Еще раз: мир будет потен и сыт. Бездельникам, паразитам и музыкантам вход воспрещен. Пока сердце качает кровь, нужно жить, черт возьми. Густав вот уже два года копил деньги, чтобы жениться на Анне, купить буфет, ковер.

По вечерам раза три в неделю она приходила – дебелая, полные руки, широкая переносица в веснушках, свинцовая тень под глазами, раздвинутые зубы, из которых один к тому же выбит. Втроем дули пиво. Она поднимала к затылку голые руки, показывая блестящее рыжее оперение под мышками, и, закинув голову, так разевала рот, что было видно все небо и язычок гортани, похожий на гузок вареной курицы. Обоим братьям был по вкусу ее анатомический смех, они усердно щекотали ее.

Днем, пока брат был на работе, Антон сидел в дружественном кабаке или валялся среди одуванчиков на холодной и яркой еще траве на берегу канала и следил с завистью, как громкие молодцы грузят уголь на баржу, или бессмысленно смотрел вверх, в праздное голубое небо, навевающее сон. Но вот, – что-то в налаженной жизни братьев зашкочило.

Еще тогда, когда Романтовский вкатывал тележку во двор, он возбудил в них и раздражение и любопытство. Безошибочным своим нюхом они почуяли: этот – не как все. Обыкновенный смертный ничего бы такого на первый взгляд в Романтовском не увидел, но братья увидели. Он, например, ходил не как все: ступая, особенно приподнимался на упругой подошве: ступит и взлетит, точно на каждом шагу была возможность разглядеть нечто незаурядное поверх заурядных голов. Был он что называется дылда, с бледным остроносом лицом и ужасно беспокойными глазами. Из коротких рукавов двубортного пиджака с какой-то назойливой и никчемной очевидностью (вот и мы, что нам делать?) вылезали длинные кисти рук. Уходил он и приходил в неопределенные часы. В один из первых же дней Антон видел, как он стоит у книжного лотка и приценивается, или даже купил, ибо торговец проворно побил одну книжку о другую – пыльные – и зашел с ними за лоток. Выяснились и другие причуды: свет горит почти всю ночь; необщителен.

Раздается голос Антона:

– Этот франт зазнается. Надо бы посмотреть на него поближе.

– Я ему продам трубку, – сказал Густав.

Туманное происхождение трубки. Ее как-то принесла Анна, но братья признавали только цыгарки. Дорогая, еще необкуренная, с полым вставным стерженьком в прямом мундштуке. К ней – замшевый чехольчик.

– Кто там? Что вам нужно? – спросил Романтовский через дверь.

– Соседи, соседи, – ответил Густав басом.

И соседи вошли, жадно озираясь. На столе обрубок колбасы на бумажке и стопка криво сложенных книг – одна раскрыта на картинке: многопарусные корабли и сверху в углу летящий младенец с надутыми щеками.

– Давайте знакомиться, – сказали братья. – Живем бок о бок, можно сказать, а всё как-то...

На комодке спиртовка и два апельсина.

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
– Рад познакомиться, – тихо сказал Романтовский и, присев на край постели, наклонив лоб с налившейся жилой, принялся шнуровать башмаки.

– Вы отдыхали, – сказал с грозной вежливостью Густав, – мы к вам не вовремя...

Тот ничего, ничего не ответил; но вдруг выпрямился, повернулся к окну, поднял палец и замер.

Братья посмотрели: окно как окно – облако, макушка тополя, стена напротив.

– Вы разве не видите? – спросил Романтовский.

Они, красный и серый, подошли к окну, даже высунулись, став одинаковыми. Ничего. И внезапно оба почувствовали: что-то не так – ой, не так! Обернулись. Романтовский в неестественной позе стоял возле комода.

– Должно быть, показалось, – сказал он, не глядя на них. – Пролетело как будто... Я однажды видел, как упал аэроплан.

– Это бывает, – согласился Густав. – А мы зашли неспроста. Не желаете ли купить?.. Совершенно новая... И футляр есть...

– Футляр? Вот как. Я, знаете, редко курю.

– Так будете чаще. Посчитаем недорого. Три с полтиной.

– Три с полтиной. Вот как.

Он вертел трубку в руках, прикусив нижнюю губу, что-то соображая. Его зрачки не глядели на трубку, а ходили вправо и влево маятником.

Между тем братья стали раздуваться, расти, они заполнили всю комнату, весь дом, и затем выросли из него. По сравнению с ними, тополек был уже не больше игрушечных деревьев, таких валких, из крашеной ваты, на зеленых круглых подставках. Дом из пыльного картона со слюдяными окнами доходил братьям до колен. Огромные, победоносно пахнущие потом и пивом, с бессмысленными говяжьими голосами, с отхожим местом взамен мозга, они возбуждают дрожь унижительного страха. Я не знаю, почему они прут на меня. Умоляю вас, отвяжитесь, я не трогаю вас, не трогайте и вы меня – я уступлю вам – только отвяжитесь.

– Но мелочью у меня не наберется, – тихо сказал Романтовский. – Вот разве что разменяете десятку.

Разменяли и, ухмыляясь, ушли. Проверенную на свет ассигнацию Густав спрятал в железную копилку.

Соседу однако они покоя не дали. Их просто бесило, что, невзирая на состоявшееся знакомство, человек оставался все таким же неприступным. Он избегал с ними встреч, так что приходилось подстергать и ловить его, чтобы на миг заглянуть в его ускользающие зрачки. Обнаружив ночную жизнь его лампы, Антон не выдержал и, босиком подойдя к двери, из-под которой натянутой золотой нитью сквозил свет, постучал.

Но Романтовский не отозвался.

– Спать, спать, – сказал Антон, хлопая ладонью по двери.

Свет молча глядел сквозь щель. Антон потеревил ручку. Золотая нить вдруг оборвалась.

С тех пор оба, особенно Антон, благо днем не работал, установили наблюдение за бессонницей соседа. Но враг был хитер и наделен тонким слухом. Как бы тихонько ни приближаться к двери, свет за ней мгновенно погасал, будто его и вовсе не было, – и только если очень долго стоять, затаив дыхание, в холодном коридоре, можно было дожидаться возвращения чуткого луча. Так падают в обморок жуки.

Слежка оказывалась весьма изнурительной. Наконец братья поймали его как-то на

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
лестнице и затеснили.

– Предположим, я привык читать по ночам. Какое вам дело? Дайте мне пройти, пожалуйста.

Когда он повернулся, Густав в шутку сбил с него шляпу. Романтовский поднял ее, ничего не сказав.

Через несколько дней вечером, уловив мгновение – он возвращался из уборной и не успел юркнуть к себе, – братья столпились вокруг него. Их было только двое, но все-таки они ухитрились столпиться – и пригласили его зайти к ним.

– Есть пивцо, – сказал Густав, подмигнув.

Он попытался было отказаться.

– Ну чего там, пойдем! – крикнули братья, взяли его под мышки и повлекли. (При этом они чувствовали, какой он худой, тонкие предплечья, слабые, нестерпимый соблазн – эх бы, сжать хорошенько, до хруста, – эх, трудно сдержаться, ну хотя бы ощупать, на ходу, так, легонько...)

– Больно, – сказал Романтовский. – Оставьте, прошу вас. Я могу идти и один.

Пивцо, большеротая невеста Густава, тяжелый дух. Романтовского попробовали напоить. Без воротничка, с медной запонкой под большим беззащитным кадыком, с длинным бледным лицом и трепещущими ресницами, он в сложной позе сидел на стуле, кое-что подкрутив, а кое-что выгнув, и когда встал, раскрутился как спираль. Его, впрочем, заставили скрутиться снова, и по совету братьев Анна села к нему на колени, и он, косясь на вздутый подъем ноги в слишком тесной упряжке туфли, преодолевал как мог тоску и не смел коснущую, рыжую сбросить.

На минуту им показалось, что он сломлен, что он свой, и Густав даже сказал:

– Вот видишь. Зря брезговал нашей компанией. Расскажи-ка нам что-нибудь. Нам обидно, что ты все как-то помалкиваешь. Что это ты читаешь по ночам?

– Старые, старые сказки, – сказал Романтовский таким голосом, что братьям вдруг стало очень скучно. Скука была грозная, душная, но хмель не давал грозе разразиться, а напротив клонил ко сну. Анна сползла с колен Романтовского и задела уже спящим бедром стол: пустые бутылки качнулись, как кегли, и одна упала. Братья клонились, валились, зевали, глядя сквозь сонные слезы на гостя. Он, трепеща и лучась, вытянулся и стал суживаться, и постепенно пропал.

Так дальше нельзя. Он отравляет жизнь честным людям. Еще, пожалуй, в конце месяца съедет – целый, неразобранный, гордо отворотив нос. Мало того, что он двигается и дышит не как все, – нам никак не удастся схватить разницу, нащупать ушко, за которое можно было бы его вытянуть. Ненавистно все то, что нельзя тронуть, взвесить, сосчитать.

Начались мелкие истязания. Им удалось в понедельник насыпать ему в простыни картофельной муки, которая, как известно, может ночью свести с ума. Во вторник он был встречен на углу – нес в охапке книги – и так был аккуратно взят в коробочку, что книги упали в избранную лужу. В среду смазали доску в уборной столярным клеем. В четверг фантазия братьев иссякла.

Он молчал, он молчал. А в пятницу, нагнав летучим своим аллюром Антона под воротами двора, сунул ему иллюстрированную газету – хотите, мол, посмотреть? Эта неожиданная вежливость озадачила и еще пуще разожгла братьев.

Густав велел своей невесте потормозить Романтовского для того, чтобы было к чему придраться. Невольно норовишь покатить мяч, прежде чем ударить ногой. Игривые животные тоже предпочитают подвижной предмет. И хотя Анна, вероятно, была Романтовскому в высшей степени противна своей молочной, в клопных крапинках кожей, пустотой светлых глаз и мокрыми мысками десен между зубов, он счел уместным скрыть неприязнь, боясь, должно быть, пренебрежением к Анне разъярить ее жениха.

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Так как он все равно раз в неделю ходил в кинематограф, то в субботу он взял ее с собой, надеясь, что этим отделается. Незаметно, на приличном расстоянии, оба в новых кепках и красных башмаках, братья потекли вслед, и на этих сомнительных улицах, в пыльных этих сумерках, были сотни людей, как они, но только один Романтовский.

В продолговатом зале уже мерцала ночь – лунная ночь собственного производства, – когда братья, таясь и сутулясь, сели в задний ряд. Где-то впереди чуялось томительно-сладостное присутствие Романтовского. Анне по дороге ничего не удалось выудить из неприятного спутника, да и не совсем понимала она, чего Густаву от него нужно. Пока они шли, ей хотелось зевать от одного вида его худобы и грусти. Но в кинематографе она о нем забыла, прижавшись к нему равнодушным плечом. Призраки переговаривались трубными голосами. Барон пригубил вино и осторожно поставил бокал – со стуком оброненного ядра.

А потом барона ловили. Кто бы узнал в нем главного мошенника? За ним охотились страстно, испуганно. Со взрывчатым грохотом мчался автомобиль. В притоне дрались бутылками, стульями, столами. Мать укладывала спать упоительного ребенка.

Когда все кончилось, и Романтовский, споткнувшись, вышел в прохладу и мрак, Анна воскликнула:

– Ах, это было чудно!..

Он откашлялся и через минуту сказал:

– Не будем преувеличивать. Все это на самом деле – гораздо скучнее.

– Сам ты скучный, – возразила она хмуро, а потом тихо засмеялась, вспомнив миленькое дитя.

Сзади, все на том же расстоянии, текли за ними братья. Оба были мрачны. Оба накачивались мрачной энергией. Антон мрачно сказал:

– Это все-таки не дело – гулять с чужой невестой.

– Особенно в субботний вечер, – сказал Густав.

Пешеход, поровнявшись с ними, случайно взглянул на их лица и невольно пошел скорее.

Вдоль заборов ночной ветер гнал шуршащий мусор. Места пустые и темные. Слева, над каналом, шурились кое-где огоньки. Справа наспех очерченные дома повернулись к пустырю черными спинами. Через некоторое время братья ускорили шаг.

– Мать и сестра в деревне, – говорила Анна тихо и довольно уютно среди мягкой ночи. – Когда выйду замуж, может быть, съездим туда к ним. Моя сестра прошлым летом...

Романтовский вдруг обернулся.

– Прошлым летом выиграла в лотерею, – продолжала Анна, машинально оглянувшись тоже.

Густав звучно свистнул.

– Ах, да это они! – воскликнула Анна и радостно захохотала. – Ах-ах, какие!..

– Доброй ночи, доброй ночи, – сказал Густав торопливым запыхавшимся голосом. – Ты что тут, осел, делаешь с моей невестой?

– Ничего не делаю, мы были...

– Но-но, – сказал Антон и с оттяжкой ударил его под ребра.

– Пожалуйста, не деритесь. Вы отлично знаете...

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
– Оставьте его, ребята, – сказала Анна со смешком.

– Должны проучить, – сказал Густав, разгораясь и с нестерпимым чувством предвкушая, как он тоже сейчас по примеру брата тронет эти хрящики, этот хрустящий хребет.

– Между прочим, со мной однажды случилась смешная история, – скороговоркой начал Романтовский, но тут Густав принялся в ребра ему ввинчивать, ввинчивать все пять горбов своего огромного кулака, и это было совершенно неопишимо больно. Отшатнувшись, Романтовский поскользнулся, чуть не упал, упасть значило бы тут же погибнуть.

– Пускай убирается, – сказала Анна.

Он повернулся и, держась за бок, пошел вперед, вдоль темных, шуршащих заборов. Братья двинулись за ним, почти наступая ему на пятки. Густав, томясь, рычал, это рычание вот-вот могло превратиться в прыжок.

Далеко впереди сквозил спасительный свет – там была освещенная улица, – и хотя, должно быть, это горел всего один какой-нибудь фонарь, она казалась, эта пройма в ночи, изумительной иллюминацией, счастливой, лучезарной областью, полной спасенных людей. Он знал, что если пуститься бежать, то все будет кончено, ибо невозможно успеть добежать; надо спокойно и ровно идти, так, может быть, дойдешь, и молчать, и не прикладывать руки к горящему боку. Он шагал, по привычке взлетая, и казалось, он это делает нарочно, чтобы глумиться, – еще, пожалуй, улетит.

Голос Анны:

– Густав, отстань от него. Потом не удержишься, сам знаешь, – вспомни, что раз было, когда ты с каменотесом...

– Молчи, стерва, он знает, что нужно! (Это голос Антона.)

Теперь до области света, где можно уже различить и листву каштана, и, кажется, тумбу, а там, слева, мост, – до этого замершего, умоляющего света, – теперь, теперь не так уж далеко... Но все-таки не следует бежать. И хотя он знал, что это оплошно, гибельно, он помимо воли, внезапно взлетев и всхлипнув, ринулся вперед.

Он бежал и будто хохотал на бегу. Густав его настиг в два прыжка. Оба упали, и среди яростного шороха и хруста был один особенный звук, скользкий, раз, и еще раз – по рукоять, – и тогда Анна мгновенно убежала в темноту, держа в руке свою шляпу.

Густав встал. Романтовский лежал на земле, кашлял и говорил по-польски. Все оборвалось.

– А теперь айда, – сказал Густав. – Я его ляпнул.

– Вынь, – сказал Антон. – Вынь из него.

– Уже вынул, – сказал Густав. – Как я его ляпнул!

Они бежали, но не к свету, а через темный пустырь, а когда, обогнув кладбище, вышли в переулок, то переглянулись и пошли обычным шагом.

Придя домой, они тотчас завалились спать. Антону приснилось, что он сидит на траве, а мимо него плывет баржа. Густаву ничего не приснилось.

Рано утром явились полицейские, они обыскивали комнату убитого и кое о чем расспрашивали Антона, вышедшего к ним. Густав остался в постели – сытый, сонный, красный, как вестфальская ветчина, с торчащими белыми бровями.

Погодя полиция ушла, и Антон вернулся. Он был в необыкновенном состоянии, давился смехом и приседал, беззвучно ударяя кулаком по ладони.

– Вот умора! – сказал он. – Знаешь, кто он был? – королек!

Королек по-ихнему значило фальшивомонетчик. И Антон рассказал, что ему удалось узнать: состоял в шайке, оказывается, и только что вышел из тюрьмы, а до того рисовал деньги; вероятно, его пырнул сообщник.

Густав потрясся от смеха тоже, но потом вдруг переменялся в лице.

– Подсунул, надул мошенник! – воскликнул он и нагишом побежал к шкапу, где хранилась копилка.

– Ничего, спустим, – сказал Антон. – Кто не знает, не отличит.

– Нет, каков мошенник, – повторял Густав.

Мой бедный Романтовский! А я-то думал вместе с ними, что ты и вправду особенный. Я думал, признаться, что ты замечательный поэт, принужденный по бедности жить в том черном квартале. Я думал, судя по иным приметам, что ты каждую ночь – выправляя стих или пестуя растущую мысль – празднуешь неузвимую победу над братьями. Мой бедный Романтовский! Теперь все кончено. Собранные предметы разбредаются опять, увь. Тополек бледнеет и, снявшись, возвращается туда, откуда был взят. Тает кирпичная стена. Балкончики вдвигаются один за другим, и, повернувшись, дом уплывает. Уплывает всё. Распадается гармония и смысл. Мир снова томит меня своей пестрой пустотой.

КРУГ

Во-вторых, потому что в нем разыгралась бешеная тоска по России. В-третьих, наконец, потому что ему было жаль своей тогдашней молодости – и всего связанного с нею – злости, неуклюжести, жара, – и ослепительно-зеленых утр, когда в роце можно было оглохнуть от иволог. Сидя в кафе и все разбавляя бледнеющую сладость струей из сифона, он вспомнил прошлое со стеснением сердца, с грустью – с какой грустью? – да с грустью, еще недостаточно исследованной нами. Все это прошлое поднялось вместе с поднимающейся от вздоха грудью, – и медленно восстал, расправил плечи покойный его отец, Илья Ильич Бычков, *le maître d'école chez nous au village*[39], в пышном черном галстуке бантом, в чесучевом пиджаке, по-старинному высоко застегивающемся, зато и расходящемся высоко, – цепочка поперек жилета, лицо красноватое, голова лысая, однако подернутая чем-то вроде нежной шерсти, какая бывает на вешних рогах у оленя, – множество складочек на щеках, и мягкие усы, и мясистая бородавка у носа, словно лишний раз завернулась толстая ноздря.

Гимназистом, студентом, Иннокентий приезжал к отцу в Лешино на каникулы, – а если еще углубиться, можно вспомнить, как снесли старую школу в конце села и построили новую. Закладка, молебен на ветру, К. Н. Годунов-Чердынцев, бросающий золотой, монета влипает ребром в глину... В этом новом, зернисто-каменном здании несколько лет подряд – и до сих пор, то есть по зачислению в штат воспоминаний – светло пахло клеєм; в классах лоснились различные пособия – например, портреты луговых и лесных вредителей... но особенно раздражали Иннокентия подаренные Годуновым-Чердынцевым чучела птиц. Изволите заигрывать с народом. Да, он чувствовал себя суровым плебеем, его душила ненависть (или казалось так), когда, бывало, смотрел через реку на заповедное, барское, кондовое, отражающееся черными громадами в воде (и вдруг – молочное облако черемухи, среди хвой).

Новая школа строилась на самом пороге века: тогда Годунов-Чердынцев, возвратясь из пятого своего путешествия по Центральной Азии, провел лето с молодой женой – был ровно вдвое ее старше – в своем петербургском имении. До какой глубины спускаешься, Боже мой! – в хрустально-расплывчатом тумане, точно все это происходило под водой, Иннокентий видел себя почти младенцем, входящим с отцом в усадьбу, плывущим по дивным комнатам, – отец движется на цыпочках, держа перед собой скрипучий пук мокрых ландышей, – и всё как будто мокро: светится, скрипит и трепещет – и ничего больше нельзя разобрать, – но это сделалось впоследствии воспоминанием стыдным – цветы, цыпочки и вспотевшие виски Ильи Ильича стали тайными символами подбострастия, особенно когда он узнал, что отец был выпутан «нашим барином» из мелкой, но прилипчивой политической истории – угодил бы в глушь, кабы не его заступничество.

Таня говаривала, что у них есть родственники не только в животном царстве, но и в растительном, и в минеральном. И точно: в честь Годунова-Чердынцева названы были новые виды фазана, антилопы, рододендрона, и даже целый горный хребет (сам он описывал главным образом насекомых). Но эти открытия его, ученые заслуги и тысяча опасностей, пренебрежением к которым он был знаменит, не всех могли заставить относиться снисходительно к его родовитости и богатству. Не забудем, кроме того, чувств известной части нашей интеллигенции, презирающей всякое неприкладное естествоиспытание и потому упрекавшей Годунова-Чердынцева в том, что он интересуется «лоб-норскими козьянками»[40] больше, чем русским мужиком. В ранней юности Иннокентий охотно верил рассказам (идиотическим) о его дорожных наложницах, жестокостях в китайском вкусе и об исполнении им секретных правительственных поручений, в пику англичанам... Его реальный образ оставался смутным: рука без перчатки, бросающая золотой (а еще раньше – при посещениях усадьбы – хозяин смешался с голубым калмыком, встреченным в зале). Засим Годунов-Чердынцев уехал в Самарканд или в Верный[41] (откуда привык начинать свои прогулки); долго не возвращался, семья же его, по-видимому, предпочитала крымское имение петербургскому, а по зимам жила в столице. Там, на набережной, стоял их двухэтажный, выкрашенный в оливковый цвет особняк. Иннокентию случалось проходить мимо: помнится, в цельном окне, сквозь газовый узор занавески, женственно белелась какая-то статуя, – сахарно-белая ягодица с ямкой. Балкон поддерживали оливковые круторебрые атланты: напряженность их каменных мышц и страдальческий оскал казались пылкому восьмикласснику аллегорией поработанного пролетариата. И раза два, там же на набережной, ветреной невской весной, он встречал маленькую Годунову-Чердынцеву, с фокстерьером, с гувернанткой, – они проходили как вихрь, – но так отчетливо, Тане было тогда, скажем, лет двенадцать, – она быстро шагала, в высоких зашнурованных сапожках, в коротком синем пальто с морскими золотыми пуговицами, хлеща себя – чем? – кажется, кожаным поводком по синей в складку юбке, – и ледоходный ветер трепал ленты матросской шапочки, и рядом стремилась гувернантка, слегка поотстав, изогнув каракулевый стан, держа на отлете руку, плотно вделанную в курчавую муфту.

Он жил у тетки (портнихи) на Охте, был угрюм, несходчив, учился тяжело, с надсадом, с предельной мечтой о тройке, но неожиданно для всех с блеском окончил гимназию, после чего поступил на медицинский факультет; при этом благоговение его отца перед Годуновым-Чердынцевым таинственно возросло. Одно лето он провел на кондиции под Тверью[42]; когда же, в июне следующего года, приехал в Лешино, узнал не без огорчения, что усадьба за рекой ожила.

Еще об этой реке, о высоком берегу, о старой купальне: к ней, ступеньками, с жабой на каждой ступеньке, спускалась глинистая тропинка, начало которой не всякий отыскал бы среди ольшаника за церковью. Его постоянным товарищем по речной части был Василий, сын кузнеца, малый неопределимого возраста – сам в точности не знал, пятнадцать ли ему лет или все двадцать – коренастый, корявый, в залатанных брючках, с громадными босыми ступнями, окраской напоминающими грязную морковь, и такой же мрачный, каким был о ту пору сам Иннокентий. Гармониками отражались сваи в воде, свиваясь и развиваясь; под гнилыми мостками купальни журчало, чмокало; черви вяло шевелились в запачканной землей жестянке из-под монпансье. Натянув сочную долю червяка на крючок, так, чтобы нигде не торчало острие, и сдобрив молодца сакраментальным плевком, Василий спускал через перила отягощенную свинцом лесу. Вечерело; через небо протягивалось что-то широкое, перистое, фиолетово-розовое – воздушный кряж с отрогами – и уже шныряли летучие мыши с подчеркнутой беззвучностью и дурной быстротой перепончатых существ. Между тем рыба начинала клевать и, пренебрегая удочкой, попросту держа в пальцах лесу, натуженную, вздрагивающую, Василий чуть-чуть подергивал, испытывая прочность подводных судорог, и вдруг вытаскивал пескаря или плотву; небрежно, даже с каким-то залихватским хрустом, рвал крючок из маленького, круглого, беззубого рта рыбы, которую за тем пускал (безумную, с розовой кровью на разорванной жабре) в стеклянную банку, где уже плавал, выпятив губу, бычок. Особенно же бывало хорошо в теплую пасмурную погоду, когда шел незримый в воздухе дождь, расходясь по воде взаимно пересекающимися кругами, среди которых там и сям появлялся другого происхождения круг, с внезапным центром, – прыгнула рыба или упал листок, – сразу, впрочем, поплывший по течению. А какое наслаждение было купаться под этим теплым ситником, на границе смешения двух однородных, но по-разному сложенных стихий – толстой речной воды и тонкой воды небесной! Иннокентий купался с толком и долго потом растирался полотенцем.

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Крестьянские ребяташки, те барахтались до изнеможения, – наконец выскакивали – и, дрожа, стуча зубами, с полоской мутной сопли от ноздри ко рту, натягивали штаны на мокрые ляжки.

В то лето он был еще угрюмее обычного и с отцом едва говорил, – все больше отбуркиваясь и хмыкая. Со своей стороны, Илья Ильич испытывал в его присутствии странную неловкость, – особенно потому, что полагал, с ужасом и умилением, что сын, как и он сам в юности, живет всей душой в чистом мире нелегального. Комната Ильи Ильича: пыльный луч солнца; на столике, – сам его смастерил, выжиг узор, покрыл лаком, – в плюшевой рамке фотография покойной жены, – такая молодая, в платье с бертами[43], в кушаке-корсетике, с прелестным овальным лицом (овальность лица в те годы совпадала с понятием женской красоты); рядом – стеклянное пресс-папье с перламутровым видом внутри и матерчатый петушок для вытирания перьев; в простенке портрет Льва Толстого, всецело составленный из набранного микроскопическим шрифтом «Холстомера». Иннокентий спал в соседней комнатке, на кожаном диване. После долгого, вольного дня спалось превосходно; случалось, однако, что иная греза принимала особый оборот, – сила ощущения как бы выносила его из круга сна, – и некоторое время он оставался лежать, как проснулся, боясь из брезгливости двинуться.

По утрам он шел в лес, зажав учебник под мышку, руки засунув за шнур, которым подпоясывал белую косоворотку. Из-под сдвинутой набок фуражки живописными, коричневыми прядями волосы налезали на бугристый лоб, хмурились сросшиеся брови, – был он недурен собой, хотя чересчур губаст. В лесу он усаживался на толстый ствол березы, недавно поваленной грозой (и до сих пор всеми своими листьями трепещущей от удара), курил, заграждал книгой путь торопившимся муравьям или предавался мрачному раздумью. Юноша одинокий, впечатлительный, обидчивый, он особенно остро чувствовал социальную сторону вещей. Так, ему казалось омерзительным все, что окружало летнюю жизнь Годуновых-Чердынцевых, – скажем, их челядь, – «челядь», повторял он, сжимая челюсти, со сладострастным отвращением. Тут имелся в виду и жирненький шофер, его веснушки, вельветовая ливрея, оранжевые краги, крахмальный воротничок, подпиривший рыжую складку затылка, который наливался кровью, когда у каретного сарая он заводил машину, тоже противную, обитую внутри глянцеви́то-пунцовой кожей; и седой лакей с бакенбардами, откусывавший хвосты новорожденным фокстерьерам; и гувернер-англичанин, шагавший, бывало, через село без шайки, в макинтоше и белых штанах, что служило поводом для мальчишек острить насчет «крестного хода» или «подштанников»; и бабы-поденщицы, приходившие по утрам выпалывать аллеи под надзором глухого сутулого старичка в розовой рубашке, с особым форсом и древней ревностью подметавшего напоследок у самого крыльца... Иннокентий, все с той же книгой под мышкой, – что мешало сложить руки крестом, как хотелось бы, – стоял, прислонясь к дереву в парке, и сумрачно глядел на то, на се, на сверкающую крышу белого дома, который еще не проснулся...

В первый раз, кажется, он их увидел с холма: на дороге, холм огибающей, появилась кавалькада, – впереди Таня, по-мужски верхом на высокой, ярко-гнедой лошади, рядом с ней сам Годунов-Чердынцев, неприметный господин на низкорослом, мышастом иноходце; за ними – англичанин в галифе, еще кто-то; сзади – Танин брат, мальчик лет тринадцати, который вдруг пришпорил коня, перегнал всех и карьером пронесся в гору, работая локтями, как жокей.

После этого были еще другие случайные встречи, а потом... Ну-с, пожалуйста: жарким днем в середине июня...

Жарким днем в середине июня по сторонам дороги размашисто двигались косари, – то к правой, то к левой ключице прилипла рубашка, «Бог помощь», – сказал Илья Ильич, проходя; он был в парадной панаме, нес букет ночных фиалок. Иннокентий молча шагал рядом, вращая ртом (лулил семечки). Приближались к усадьбе. На площадке для игры в лоун-теннис тот же глухой розовый старичок в фартуке макал кисть в ведро и проводил, согнувшись до земли и пятясь, толстую сливочную черту. «Бог помощь», сказал Илья Ильич, проходя.

Стол был накрыт в аллее, русский пятнистый свет играл на скатерти. Экономка, в горжетке, со стальными, зачесанными назад волосами, уже разливала шоколад по темно-синим чашкам, которые разносили лакеи. Былолюдно и шумно в саду, множество гостей – родственники и соседи. Годунов-Чердынцев (весьма пожилой, с

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru желтовато-пепельной бородкой и морщинами у глаз), поставив ногу на скамью, играл с фокстерьером, заставляя его прыгать, – собака не только прыгала очень высоко, стараясь хапнуть мокрый мячик, но даже ухитрялась, вися в воздухе, еще подвигнуться, с добавочной судорогой всего тела. Елизавета Павловна шла через сад с другой дамой, всплескивая руками, что-то живо на ходу рассказывая, – высокая, румяная, в большой дрожащей шляпе. Илья Ильич с букетом стоял и кланялся... В пестром мареве (ибо Иннокентий, несмотря на небольшую репетицию гражданского презрения, проделанную накануне, находился в сильнейшем замешательстве) мелькали молодые люди, бегущие дети, чья-то шаль с яркими маками по черному, второй фокстерьер, – а главное, главное: скользящее сквозь тень и свет, еще неясное, но уже грозящее роковым обаянием, лицо Тани, которой исполнялось сегодня шестнадцать лет.

Уселись. Он оказался в самом тенистом конце стола, где сидевшие не столько говорили между собой, сколько смотрели, все одинаково повернув головы, туда, где был говор и смех, и великолепный, атласисто-розовый пирог, утыканный свечками, и восклицания детей, и лай обоих фокстерьеров, чуть не прыгнувших на стол... а здесь как бы соединялись кольцами липовой тени люди разбора последнего: улыбающийся как в забытье Илья Ильич; некрасивая девица в воздушном платье, пахнувшая потом от волнения; старая француженка с недобрými глазами, державшая под столом на коленях незримое крохотное существо, изредка звеневшее бубенчиком... Соседом Иннокентия оказался брат управляющего, человек тупой, скучный, притом заика; Иннокентий разговаривал с ним только потому, что смертельно боялся молчать, и хотя беседа была изнурительная, он с отчаяния за нее держался, – зато позже, когда уже зачистил сюда и случайно встречал беднягу, не говорил с ним никогда, избегая его, как некую западню или воспоминание позора.

Вращаясь, медленно падал на скатерть липовый летунок.

Там, где сидела знать, Годунов-Чердынцев громко говорил через стол со старухой в кружевах, говорил, держа за гибкую талию дочь, которая стояла подле и подбрасывала на ладони мячик. Некоторое время Иннокентий боролся с сочным кусочком пирога, очутившимся вне тарелки, – и вот, от неловкого прикосновения, перевалившись и – под стол, – малиновый увалень (там его и оставим). Илья Ильич все улыбался впустую, обсасывал усы; кто-то попросил его передать печение, – он залился счастливым смехом и передал. Вдруг над самым ухом Иннокентия раздался быстрый задыхающийся голос: Таня, глядя на него без улыбки и держа в руке мяч, предлагала – хотите с нами пойти? – и он жарко смутился, выбрался из-за стола, толкнув соседа, – не сразу мог выпростать правую ногу из-под общей садовой скамейки.

О ней говорили: какая хорошенькая барышня; у нее были светло-серые глаза под котиковыми бровями, довольно большой, нежный и бледный, рот, острые резцы, и когда она бывала нездорова или не в духе, заметны становились волоски над губой. Она страстно любила все летние игры, во всё играла ловко, с какой-то очаровательной сосредоточенностью, и, конечно, само собой прекратилось простодушное ужение пескарей с Василием, который недоумевал, – что случилось? – появлялся вдруг, около школы, под вечер, и манил Иннокентия, неуверенно осклабился и поднимая на уровень лица жестянку с червями, – и тогда Иннокентий внутренне содрогался, сознавая свою измену народу. Между тем от новых знакомых радости было мало. Так случилось, что к центру их жизни он все равно не был допущен, а пребывал на ее зеленой периферии, участвуя в летних забавах, но никогда не попадая в самый дом. Это бесило его; он жаждал приглашения только затем, чтобы высокомерно отказаться от него, – да и вообще все время был начеку, хмурый, загорелый, лохматый, с постоянной игрой челюстных желваков, и всякое Танино слово как бы отбрасывало в его сторону маленькую тень оскорбления, и, Боже мой, как он их всех ненавидел, – ее двоюродных братьев, подруг, веселых собак... Внезапно все это бесшумно смешалось, исчезло, и вот, в бархатной темноте августовской ночи, он сидит на парковой калитке и ждет; покалькает засунутая между рубашкой и телом записка, которую, как в старых романах, ему принесла босая девчонка. Лаконический призыв на свидание показался ему издевательством, но все-таки он поддался ему – и был прав: от ровного шороха ночи отделился легкий хруст шагов.

Ее приход, ее бормотание и близость были для него чудом; внезапное прикосновение ее холодных, проворных пальцев изумило его чистоту. Сквозь деревья горела огромная, быстро поднимающаяся луна. Обливаясь слезами, дрожа и солеными губами

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru слепо тычась в него, Таня говорила, что завтра уезжает с матерью на юг, и что все кончено, о, как можно было быть таким непонятливым... «Останьтесь, Таня», – взмолился он, но поднялся ветер, она зарыдала еще пуще... когда же она убежала, он остался сидеть неподвижно, слушая шум в ушах, а погода пошел прочь по темной и как будто шевелившейся дороге, и потом была война с немцами, и вообще все как-то расплзлось, – но постепенно стянулось снова, и он уже был ассистентом профессора Бэра (Behr) на чешском курорте, а в 1924 году, что ли, работал у него в Савоие, и однажды – кажется, в Шамони[44] – попался молодой советский геолог, разговорились, и, упомянув о том, что тут пятьдесят лет тому назад погиб смертью простого туриста Федченко[45] (исследователь Ферганы!), геолог добавил, что вот постоянно так случается: этих отважных людей смерть так привыкла преследовать в диких горах и пустынях, что уже без особого умысла, шутя, задевает их при всяких других обстоятельствах и к своему же удивлению застаёт их врасплох, – вот так погибли и Федченко, и Северцев[46], и Годунов-Чердынцев, не говоря уже об иностранных классиках, – Спик[47], Дюмон-Дюрвилль[48]. А еще через несколько лет Иннокентий был проездом в Париже и, посетив по делу коллегу, уже бежал вниз по лестнице, надевая перчатку, когда на одной из площадок вышла из лифта высокая сутуловатая дама, в которой он мгновенно узнал Елизавету Павловну. «Конечно, помню вас, еще бы не помнить», – произнесла она, глядя не в лицо ему, а как-то через его плечо, точно за ним стоял кто-то (она чуть косила). «Ну, пойдемте к нам, голубчик», – продолжала она, выйдя из мгновенного оцепенения, и отвернула носком угол толстого, пресыщенного пылью мата, чтобы достать из-под него ключ. Иннокентий вошел за ней, мучась, ибо никак не мог вспомнить, что именно рассказывали ему по поводу того, как и когда погиб ее муж.

А потом пришла домой Таня, вся как-то уточнившаяся за эти двадцать лет, с уменьшившимся лицом и подобревшими глазами, – сразу закурила, засмеялась, без стеснения вспоминая с ним то отдаленное лето, – и он все дивился, что и Таня, и ее мать не поминуют покойного и так просто говорят о прошлом, а не плачут навзрыд, как ему, чужому, хотелось плакать, – или, может быть, держали фасон? Появилась бледная, темноголовая девочка лет десяти, – «А вот моя дочка, – ну пойдй сюда», – сказала Таня, суя порозовевший окуроч в морскую раковину, служившую пепельницей. Вернулся домой Танин муж, Кутасов, и Елизавета Павловна, встретив его в соседней комнате, предупредила о госте на своем, вывезенном из России, домашнем французском языке: «Le fils du maître d'école chez nous au village»[49] – и тут Иннокентий вспомнил, как Таня сказала раз подруге, намекая на его (красивые) руки, «regarde ses mains»[50], – и теперь, слушая, как девочка, с чудесной, отечественной певучестью отвечает на вопросы матери, он успел злорадно подумать: «Небось, теперь не на что учить детей по-иностранному», то есть не сообразил сразу, что ныне в этом русском языке и состоит как раз самая праздная, самая лучшая роскошь.

Беседа не ладилась; Таня, что-то спутав, уверяла, что он ее когда-то учил революционным стихам о том, как деспот пирует[51], а грозные буквы давно на стене уж чертит рука роковая. «Другими словами, первая стенгазета», – сказал Кутасов, любивший острить. Еще выяснилось, что Танин брат живет в Берлине, и Елизавета Павловна принялась рассказывать о нем... Вдруг Иннокентий почувствовал: ничто-ничто не пропадает, в памяти накаплиются сокровища, растут скрытые склады в темноте, в пыли, и вот кто-то проезжий вдруг требует у библиотекаря книгу, невыдававшуюся двадцать лет. Он встал, простился, его не очень задерживали. Странно: дрожали ноги. Вот какая потрясающая встреча. Перейдя через площадь, он вошел в кафе, заказал напиток, привстал, чтобы вынуть из-под себя свою же задавленную шляпу. Какое ужасное на душе беспокойство... А было ему беспокойно по нескольким причинам. Во-первых, потому что Таня оказалась такой же привлекательной, такой же неуязвимой, как и некогда.

ВАСИЛИЙ ШИШКОВ

Мои воспоминания о нем сосредоточены в пределах весны сего года. Был какой-то литературный вечер. Когда, воспользовавшись антрактом, чтоб поскорее уйти, я спускался по лестнице, мне послышался будто шум погони, и, обернувшись, я увидел его в первый раз. Остановившись на две ступени выше меня, он сказал:

– Меня зовут Василий Шишков. Я поэт.

Это был крепко скроенный молодой человек в русском роде, толстогубый и

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru сероглазый, с басистым голосом и глубоким, удобным рукопожатием.

– Мне нужно кое о чем посоветоваться с вами, – продолжал он, – желательно было бы встретиться.

Неизбалованный такими желаниями, я отвечал почти умиленным согласием, и было решено, что он на следующий день зайдет ко мне в гостиницу. К назначенному часу я сошел в подвое холла, где в это время было сравнительно тихо, только изредка маневрировал судорожный лифт, да в обычном своем углу сидело четверо немецких беженцев, обсуждая некоторые паспортные тонкости, причем один думал, что он в лучшем положении, чем остальные, а те ему доказывали, что в таком же. (Потом явился пятый, приветствовал земляков почему-то по-французски – юмор? щегольство? соблазн нового языка? Он только что купил себе шляпу, и все стали ее по очереди примерять.)

С серьезным выражением лица и плеч осилив неповоротливые двери, Шишков едва успел осмотреться, как увидел меня, и тут приятно было отметить, что он обошелся без той условной улыбки, которой я так боюсь, хотя сам ей подвержен. Не без труда я сдвинул два кресла, и опять было приятно – оттого что, вместо машинального наброска содействия, он остался вольно стоять, выжидая, пока я все устрою. Как только мы уселись, он достал палевую тетрадь.

– Прежде всего, – сказал он, внимательно глядя на меня своими хорошими мохнатыми глазами, – следует предъявить бумаги, ведь правда? В участке я показал бы удостоверение личности, а вам мне приходится предъявить вот это – тетрадь стихов.

Я раскрыл ее. Крепкий, слегка влево наклоненный почерк дышал здоровьем и даровитостью. Увы, как только мой взгляд заходил по строкам, я почувствовал болезненное разочарование. Стихи были ужасные – плоские, пестрые, зловеще претенциозные. Их совершенная бездарность подчеркивалась шулерским шиком аллитераций, базарной роскошью и малограмотностью рифм. Достаточно сказать, что сочетались такие пары, как «жасмина» и «выражала ужас мина», «беседки» и «бес едкий», «ноктюрны» и «брат двоюрный», – а о темах лучше вовсе умолчать: автор с одинаковым удалством воспевал все, что ему попадалось под лиру. Читать подряд было для нервного человека истязанием, но так как моя добросовестность усугублялась тем, что автор твердо следил за мной, одновременно контролируя очередной предмет чтения, мне пришлось задержаться на каждой странице.

– Ну как, – спросил он, когда я кончил, – не очень плохо?

Я посмотрел на него. Никаких дурных предчувствий его слегка блестящее, с расширенными порами, лицо не выражало. Я ответил, что стихи безнадежны. Шишков щелкнул языком, сгреб тетрадь в карман и сказал:

– Бумаги не мои, то есть я-то сам написал, но это так, фальшивка. Все тридцать сделаны сегодня, и было довольно противно пародировать продукцию графоманов. Теперь зато знаю, что вы безжалостны, то есть что вам можно верить. Вот мой настоящий паспорт. (Шишков мне протянул другую тетрадь, гораздо более потрепанную). Прочтите хоть одно стихотворение, этого и вам и мне будет достаточно. Кстати, во избежание недоразумений, хочу вас предупредить, что я ваших книг не люблю, они меня раздражают, как сильный свет или как посторонний громкий разговор, когда хочется не говорить, а думать. Но вместе с тем вы обладаете, чисто физиологически, что ли, какой-то тайной писательства, секретом каких-то основных красок, то есть чем-то исключительно редким и важным, которое вы, к сожалению, применяете по-пустому, в небольшую меру ваших общих способностей... разъезжаете, так сказать, по городу на сильной и совершенно вам ненужной гоночной машине и все думаете, куда бы еще катнуть... Но так как вы тайной обладаете, с вами нельзя не считаться, потому-то я и хотел бы заручиться вашей помощью в одном деле, но сначала, пожалуйста, взгляните.

(Признаюсь, неожиданная и непрошенная характеристика моей литературной деятельности показалась мне куда бесцеремоннее, чем придуманный моим гостем невинный обман. Пишу я ради конкретного удовольствия, печатаю ради значительно менее конкретных денег, и, хотя этот второй пункт должен подразумевать так или иначе существование потребителя, однако, чем больше, в порядке естественного развития, отдаляются мои книги от их самодовлеющего источника, тем отвлеченнее и незначительнее мне представляются их случайные приключения, и уж на так

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
называемом читательском суде я чувствую себя не обвиняемым, а разве лишь дальним родственником одного из наименее важных свидетелей. Другими словами, хвала мне кажется странной фамильярностью, а хула – праздным ударом по призраку. Теперь я старался решить, всякому ли самолюбивому литератору Шишков так вываливает свое искреннее мнение или только со мной не стесняется, считая, что я это заслужил. Я заключил, что, как фокус со стихами был вызван несколько ребяческой, но несомненной, жаждой правды, так и его суждение обо мне диктовалось желанием как можно шире раздвинуть рамки взаимной откровенности.)

Я почему-то боялся, что в подлиннике найдутся следы недостатков, чудовищно преувеличенных в пародии, но боялся я напрасно. Стихи были очень хороши – я надеюсь как-нибудь поговорить о них гораздо подробнее. Недавно по моему почину одно из них появилось в свет, и любители поэзии заметили его своеобразность... Поэту, столь странно охочему до чужого мнения, я тут же высказал его, добавив в виде поправки, что кое-где заметны маленькие зыбкости слога – вроде, например, «в солдатских мундирах»[52].

– Знаете, что, – сказал Шишков, – раз вы согласны со мной, что моя поэзия не пустяки, сохраните у себя эту тетрадку. Мало ли что может случиться, у меня бывают странные, очень странные мысли, и... словом, я сейчас только подумал, что так очень хорошо складывается. Я, собственно, шел к вам, чтобы просить вас участвовать в журнале, который затеваю, – в субботу будет у меня собрание, и должно все решиться. Конечно, я не ободряюсь вашей способностью увлекаться мировыми проблемами, но мне кажется, идея моего журнала вас заинтересует со стилистической стороны, так что приходите. Между прочим, будет (он назвал очень знаменитого русского писателя), еще кое-кто. Понимаете, я дошел до какой-то черты, мне нужно непременно как-то разрядиться, а то сойду с ума. Мне скоро тридцать лет, в прошлом году я приехал сюда, в Париж, после абсолютно бесплодной юности на Балканах, потом в Австрии. Я переплетчик, наборщик, был даже библиотекарем, словом, вертелся всегда около книги. А все-таки я жил бесплодно, и с некоторых пор мне прямо до взрыва хочется что-то сделать, – мучительное чувство, – ведь вы сами видите, – может, с другого бока, но все-таки должны видеть, сколько всюду страдания, кретинизма, мерзости, а люди моего поколения ничего не замечают, ничего не делают, а ведь это просто необходимо, как вот дышать или есть. И поймите меня, я говорю не о больших, броских вещах, которые всем намозолили душу, а о миллионах мелочей, которых люди не видят, хотя они-то и суть зародыши самых явных чудовищ. Вот, например, недавно, – эта мать, которая, потеряв терпение, утопила двухлетнюю девочку в ванне и потом сама выкупалась – ведь не пропадать же горячей воде. Боже мой, сравните с «посоленными щами», с тургеневской синелью[53]... Мне совершенно все равно, если вам кажется смешным, что количество таких мелочей – каждый день, всюду, разного калибра, разной формы, хвостиками, точками, кубиками – может так волновать человека, что он задыхается и теряет аппетит, – но, может быть, вы все-таки придете.

Наш разговор я здесь соединил с выдержками из пространного письма, которое Шишков мне прислал на другой день в виде подкрепления. В субботу я слегка запоздал и, когда вошел в его столь же бедную, как и опрятную комнату, все уже были в сборе, не хватало только знаменитого писателя. Из присутствующих я знал в лицо редактора одного бывшего издания; остальные – обширная дама (кажется, переводчица или теософка) с угрюмым маленьким мужем, похожим на черный брелок, двое потрепанных господ в Mad'овских пиджаках[54] и энергичный блондин, видимо, приятель хозяина – были мне неизвестны. Заметив, что Шишков озабоченно прислушивается, заметив далее, как он решительно и радостно оперся о стол и уже привстал, прежде чем сообразить, что это звонят в другую квартиру, я искренне пожелал прихода знаменитости, но она так и не явилась.

– Господа, – сказал Шишков и стал довольно хорошо и интересно развивать свои мысли о журнале, который должен был называться «Обзор Страдания и Пошлости» и выходить ежемесячно, состоя преимущественно из собранных за месяц газетных мелочей соответствующего рода, причем требовалось их размещать в особом, «восходящем» и вместе с тем «гармонически незаметном», порядке. Бывший редактор привел некоторые цифры и выразил уверенность, что журнал такого типа не окупится никогда. Муж обширной литераторши, сняв пенсне, страшно растягивая слова и массируя себе переносицу, сказал, что, если уж бороться с человеческим страданием, то гораздо практичнее раздать бедным ту сумму, которая нужна для основания журнала, и так как эта сумма ожидалась от него, то прошел холодок. Затем приятель хозяина, гораздо бойчее и хуже, повторил в общих чертах то, что

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru говорил Шишков. Спросили и мое мнение; видя выражение лица Шишкова, я приложил все силы, чтобы поддержать его проект. Разошлись непоздно.

Провожая нас на площадку, Шишков остутился и несколько долее, чем полагалось для поощрения смеха, остался сидеть на полу, бодро улыбаясь, с невозможными глазами.

Через несколько дней он опять меня посетил, и опять в углу четверо толковали о визах, и потом пришел пятый и бодро сказал: «Bonjour, Monsieur Weiss, bonjour, Monsieur Meyer»[55]. На мой вопрос Шишков рассеянно и даже как-то нехотя ответил, что идея журнала признана неосуществимой и что он об этом больше не думает.

– Вот что я хотел вам сказать, – заговорил он после стесненного молчания, – я все решал, решал и, кажется, более или менее решил. Почему именно я в таком состоянии, вам вряд ли интересно – что мог, я объяснил вам в письме, но это было применительно к делу, к тому журналу... Вопрос шире, вопрос безнадежнее. Я решал, что делать, как прервать, как уйти. Убраться в Африку, в колонии? Но не стоит затевать геркулесовых хлопот только ради того, чтобы среди фиников и скорпионов думать о том же, о чем я думаю под парижским дождем. Сунуться в Россию? Нет – это польмя. Уйти в монахи? Но религия скучна, чужда мне и не более чем как сон относится к тому, что для меня есть действительность духа. Покончить с собой? Но мне так отвратительна смертная казнь, что быть собственным палачом я не в силах, да кроме того боюсь последствий, которые и не снились Любому Гамлету. Значит, остается способ один – исчезнуть, раствориться.

Он еще спросил, в сохранности ли его тетрадь, и вскоре затем ушел, широкоплечий, слегка все-таки сутулый, в макинтоше, без шляпы, с обросшим затылком, – необыкновенно симпатичный, грустный, чистый человек, которому я не знал, что сказать, чем помочь.

Через неделю я покинул Париж и едва ли не в первый день по возвращении встретил на улице шишковского приятеля. Он сообщил мне престранную историю: с месяц тому назад «Вася» пропал, бросив все свое небольшое имущество.

Полиция ничего не выяснила, кроме того, что пропавший давно просрочил то, что русские называют «картой»[56].

Так это и осталось. На случае, с которого начинаются криминальные романы, кончается мой рассказ о Шишкове. Скучные биографические сведения, добытые у его случайного приятеля, я записал, – они когда-нибудь могут пригодиться. Но куда же он все-таки исчез? Что вообще значили эти его слова – «исчезнуть», «раствориться»? Неужели же он в каком-то невыносимом для рассудка, дико буквальном смысле имел в виду исчезнуть в своем творчестве, раствориться в своих стихах, оставить от себя, от своей туманной личности только стихи? Не переоценил ли он «прозрачность и прочность такой необычной гробницы»?

ОБЛАКО, ОЗЕРО, БАШНЯ

Один из моих представителей, скромный, кроткий холостяк, прекрасный работник, как-то на благотворительном балу, устроенном эмигрантами из России, выиграл увеселительную поездку. Хотя берлинское лето находилось в полном разливе (вторую неделю было сыро, холодно, обидно за все зеленевшее зря, и только воробьи не унывали), ехать ему никуда не хотелось, но когда в конторе общества увеспоездок он попробовал билет свой продать, ему ответили, что для этого необходимо особое разрешение от министерства путей сообщения; когда же он и туда сунулся, то оказалось, что сначала нужно составить сложное прошение у нотариуса на гербовой бумаге да кроме того раздобыть в полиции так называемое «свидетельство о невыезде из города на летнее время», причем выяснилось, что издержки составят треть стоимости билета, то есть как раз ту сумму, которую, по истечении нескольких месяцев, он мог надеяться получить. Тогда, повздыхав, он решил ехать. Взял у знакомых алюминиевую фляжку, подновил подошвы, купил пояс и фланелевую рубашку вольного фасона – одну из тех, которые с таким нетерпением ждут стирки, чтобы сесть. Она, впрочем, была велика этому милому, коротковатому человеку, всегда аккуратно подстриженному, с умными и добрыми глазами. Я сейчас не могу вспомнить его имя и отчество. Кажется, Василий Иванович.

Он плохо спал накануне отбытия. Почему? Не только потому, что утром надо

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru вставлять непривычно рано и таким образом брать с собой в сон личико часов, тикающих рядом на столике, а потому что в ту ночь ни с того, ни с сего ему начало мниться, что эта поездка, навязанная ему случайной судьбой в открытом платье, поездка, на которую он решился так неохотно, принесет ему вдруг чудное, дрожащее счастье, чем-то схожее и с его детством, и с волнением, возбуждаемым в нем лучшими произведениями русской поэзии, и с каким-то когда-то виденным во сне вечерним горизонтом, и с тою чужою женой, которую он восьмой год безвыходно любил (но еще полнее и значительнее всего этого). И кроме того он думал о том, что всякая настоящая хорошая жизнь должна быть обращением к чему-то, к кому-то.

Утро поднялось пасмурное, но теплое, парное, с внутренним солнцем, и было совсем приятно трястись в трамвае на далекий вокзал, где был сборный пункт: в экскурсии, увы, участвовало несколько персон. Кто они будут, эти сонные – как всё еще нам незнакомые – спутники? У кассы номер шесть, в семь утра, как было указано в примечании к билету, он и увидел их (его уже ждали: минуты на три он все-таки опоздал). Сразу выделился долговязый блондин в тирольском костюме, загорелый до цвета петушиного гребня, с огромными, золотисто-оранжевыми, волосатыми коленями и лакированным носом. Это был снаряженный обществом вожак, и как только новоприбывший присоединился к группе (состоявшей из четырех женщин и столько же мужчин), он ее повел к запятанному за поездами поезду, с устрашающей легкостью неся на спине свой чудовищный рюкзак и крепко цокая подкованными башмаками. Разместились в пустом вагончике сугубо третьего класса, и Василий Иванович, сев в сторонке и положив в рот мятку, тотчас раскрыл томик Тютчева, которого давно собирался перечитать («Мы слизь. Реченная есть ложь», – и дивное о румяном восклицании[57]); но его попросили отложить книжку и присоединиться ко всей группе. Пожилой почтовый чиновник в очках, со щетинисто сизыми черепом, подбородком и верхней губой, словно он сбрил ради этой поездки какую-то необыкновенно обильную растительность, тотчас сообщил, что бывал в России и знает немножко по-русски, например, «пацлуй», да так подмигнул, вспоминая проказы в Царицыне, что его толстая жена набросала в воздухе начало оплеухи наотмашь. Вообще становилось шумно. Перекидывались пудовыми шутками четверо, связанные тем, что служили в одной и той же строительной фирме, – мужчина постарше, Шульц, мужчина помоложе, Шульц тоже, и две девицы с огромными ртами, задастые и непоседливые. Рыжая, несколько фарсового типа вдова в спортивной юбке тоже кое-что знала о России (Рижское взморье). Еще был темный, с глазами без блеска, молодой человек, по фамилии Шрам, с чем-то неопределенным, бархатно-гнусным, в облике и манерах, все время переводивший разговор на те или другие выгодные стороны экскурсии и дававший первый знак к восхищению: это был, как узналось впоследствии, специальный подогреватель от общества увеспоездов.

Паровоз, шибко-шибко работая локтями, бежал сосновым лесом, затем – облегченно – полями и, понимая еще только смутно всю чушь и ужас своего положения и, пожалуй, пытаясь уговорить себя, что все очень мило, Василий Иванович ухитрился наслаждаться мимолетными дарами дороги. И действительно: как это все увлекательно, какую прелесть приобретает мир, когда заведен и движется каруселью! Какие выясняются вещи! Жгучее солнце пробиралось к углу окошка и вдруг обливало желтую лавку. Безумно быстро неслась плохо выглаженная тень вагона по травяному скату, где цветы сливались в цветные строки. Шлагбаум: ждет велосипедист, опираясь одной ногой на землю. Деревья появлялись партиями и отдельно, поворачивались равнодушно и плавно, показывая новые моды. Синяя сырость оврага. Воспоминание любви, переодетое лугом. Перистые облака, вроде небесных борзых. Нас с ним всегда поражала эта страшная для души анонимность всех частей пейзажа, невозможность никогда узнать, куда ведет вон та тропинка, – а ведь какая соблазнительная глушь! Бывало, на дальнем склоне или в лесном просвете появится и как бы замрет на мгновение, как задержанный в груди воздух, место до того очаровательное, – полянка, терраса, – такое полное выражение нежной, благожелательной красоты, что, кажется, вот бы остановить поезд и – туда, навсегда, к тебе, моя любовь... но уже бешено заскакали, вертяться в солнечном кипятке, тысячи буковых стволов, и опять прозевал счастье. А на остановках Василий Иванович смотрел иногда на сочетание каких-нибудь совсем ничтожных предметов – пятно на платформе, вишневая косточка, окурочек, – и говорил себе, что никогда-никогда не запомнит и не вспомнит более вот этих трех штучек в таком-то их взаимном расположении, этого узора, который однако сейчас он видит до бессмертности ясно; или еще, глядя на кучку детей, ожидающих поезд, он изо всех сил старался рассмотреть хоть одну замечательную судьбу – в форме скрипки или короны, пропеллера или лиры, – и досматривался до того, что вся эта компания деревенских школьников являлась ему как на старом снимке, воспроизведенном

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
теперь с белым крестиком над лицом крайнего мальчика: детство героя.

Но глядеть в окно можно было только урывками. Всем были розданы нотные листки со стихами от общества:

Распротись с пустой тревогой,
палку толстую возьми
и шагай большой дорогой
вместе с добрыми людьми.
По холмам страны родимой
вместе с добрыми людьми,
без тревоги нелюдимой,
без сомнений, черт возьми.
Километр за километром,
ми-ре-до и до-ре-ми,
вместе с солнцем, вместе с ветром,
вместе с добрыми людьми.

Это надо было петь хором. Василий Иванович, который не то, что петь, а даже плохо мог произносить немецкие слова, воспользовался неразборчивым ревом слившихся голосов, чтобы только приоткрывать рот и слегка покачиваться, будто в самом деле пел, но предводитель по знаку вкрадчивого Шрама вдруг резко приостановил общее пение и, подозрительно шурясь в сторону Василия Ивановича, потребовал, чтоб он пропел соло. Василий Иванович прочистил горло, застенчиво начал и после минуты одиночного мучения подхватили все, но он уже не смел выпасть.

У него было с собой: любимый огурец из русской лавки, булка и три яйца. Когда наступил вечер, и низкое алое солнце целиком вошло в замызганный, закачанный, собственным грохотом оглушенный вагон, было всем предложено выдать свою провизию, дабы разделить ее поровну, – это тем более было легко, что у всех кроме Василия Ивановича было одно и то же. Огурец всех рассмешил, был признан несъедобным и выброшен в окошко. В виду недостаточности пая, Василий Иванович получил меньшую порцию колбасы.

Его заставляли играть в скат[58], тормозили, расспрашивали, проверяли, может ли он показать на карте маршрут предпринятого путешествия, – словом, все занимались им, сперва добродушно, потом с угрозой, растущей по мере приближения ночи. Обеих девиц звали Гретами, рыжая вдова была чем-то похожа на самого петуха-предводителя; Шрам, Шульц и другой Шульц, почтовый чиновник и его жена, все они сливались постепенно, срастаясь, образуя одно сборное, мягкое, многорукое существо, от которого некуда было деваться. Оно налезало на него со всех сторон. Но вдруг на какой-то станции все повылезли, и это было уже в темноте, хотя на западе еще стояло длиннейшее, розовейшее облако и, пронзая душу, подальше на пути, горел дрожащей звездой фонарь сквозь медленный дым паровоза, и во мраке цыкали сверчки, и откуда-то пахло жасмином и сеном, моя любовь...

Ночевали в кривой харчевне. Матерой клоп ужасен, но есть известная грация в движении шелковистой лепизмы[59]. Почтового чиновника отделили от жены, помещенной с рыжей, и подарили на ночь Василию Ивановичу. Кровати занимали всю комнату. Сверху перина, снизу горшок. Чиновник сказал, что спать ему что-то не хочется, и стал рассказывать о своих русских впечатлениях, несколько подробнее, чем в поезде. Это было упрямое и обстоятельное чудовище в арестантских подштанниках, с перламутровыми когтями на грязных ногах и медвежьим мехом между толстыми грудями. Ночная бабочка металась по потолку, чокаясь со своей тенью.

– В Царицыне, – говорил чиновник, – теперь имеются три школы: немецкая, чешская и китайская. Так, по крайней мере, уверяет мой зять, ездивший туда строить тракторы.

На другой день с раннего утра и до пяти пополудни пылили по шоссе, лениво переходившему с холма на холм, а затем пошли зеленой дорогой через густой бор. Василию Ивановичу, как наименее нагруженному, дали нести под мышкой огромный круглый хлеб. До чего я тебя ненавижу, насущный! И все-таки его драгоценные, опытные глаза примечали что нужно. На фоне еловой черноты вертикально висит сухая иголка на невидимой паутинке.

Опять ввалились в поезд, и опять было пусто в маленьком, без перегородок,

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru вагоне. Другой Шульц стал учить Василия Ивановича играть на мандолине. Было много смеху. Когда это надоело, затеяли славную забаву, которой руководил Шрам; она состояла вот в чем: женщины ложились на выбранные лавки, а под лавками уже спрятаны были мужчины, и вот, когда из-под той или другой вылезала красная голова с ушами или большая, с подъябочным направлением пальцев, рука (вызывавшая визг), то и выяснялось, кто с кем попал в пару. Трижды Василий Иванович ложился в мерзкую тьму, и трижды никого не оказывалось на скамейке, когда он из-под нее выползал. Его признали проигравшим и заставили съесть окурок.

Ночь провели на соломенных тюфяках в каком-то сарае и спозаранку отправились снова пешком. Елки, обрывы, пенистые речки. От жары, от песен, которые надо было беспрестанно горланить, Василий Иванович так изнемог, что на полднем привале немедленно уснул и только тогда проснулся, когда на нем стали шлепать мнимых оводов. А еще через час ходьбы вдруг и открылось ему то самое счастье, о котором он как-то вполгрезы подумал.

Это было чистое, синее озеро с необыкновенным выражением воды. Посредине отражалось полностью большое облако. На той стороне, на холме, густо облепленном древесной зеленью (которая тем поэтичнее, чем темнее), высилась прямо из дактиля в дактиль[60] старинная черная башня. Таких, разумеется, видов в средней Европе сколько угодно, но именно, именно этот, по невыразимой и неповторимой согласованности его трех главных частей, по улыбке его, по какой-то таинственной невинности, – любовь моя! послушная моя! – был чем-то таким единственным, и родным, и давно обещанным, так понимал созерцателя, что Василий Иванович даже прижал руку к сердцу, словно смотрел, тут ли оно, чтоб его отдать.

Поодаль Шрам, тыкая в воздух альпенштоком предводителя, обращал Бог весть на что внимание экскурсантов, расположившихся кругом на траве в любительских позах, а предводитель сидел на пне, задом к озеру, и закусьвал. Потихоньку, прячась за собственную спину, Василий Иванович пошел берегом и вышел к постоялому двору, где, прижимаясь к земле, смеясь, истово бия хвостом, его приветствовала молодая еще собака. Он вошел с нею в дом, пегий, двухэтажный, с прищуренным окном под выпуклым черепичным веком и нашел хозяина, рослого старика, смутно инвалидной внешности, столь плохо и мягко изъяснявшегося по-немецки, что Василий Иванович перешел на русскую речь, но тот понимал как сквозь сон и продолжал на языке своего быта, своей семьи. Наверху была комната для приезжих. – Знаете, я сниму ее на всю жизнь, – будто бы сказал Василий Иванович, как только в нее вошел. В ней ничего не было особенного, – напротив, это была самая дюжинная комнатка, с красным полом, с ромашками, намалеванными на белых стенах, и небольшим зеркалом, наполовину полным ромашкового настоя, но из окошка было ясно видно озеро с облаком и башней, в неподвижном и совершенном сочетании счастья. Не рассуждая, не вникая ни во что, лишь беспрекословно отдаваясь влечению, правда которого заключалась в его же силе, никогда еще не испытанной, Василий Иванович в одну солнечную секунду понял, что здесь, в этой комнатке с прелестным до слез видом в окне, наконец-то так пойдет жизнь, как он всегда этого желал. Как именно пойдет, что именно здесь случится, он этого не знал, конечно, но все кругом было помощью, обещанием и отрадой, так что не могло быть никакого сомнения в том, что он должен тут поселиться. Мигом он сообразил, как это исполнить, как сделать, чтобы в Берлин не возвращаться более, как выписать сюда свое небольшое имущество – книги, синий костюм, ее фотографию. Все выходило так просто! У меня он зарабатывал достаточно на малую русскую жизнь.

– Друзья мои, – крикнул он, прибежав снова вниз на прибрежную полянку. – Друзья мои, прощайте! Навсегда остаюсь вон в том доме. Нам с вами больше не по пути. Я дальше не еду. Никуда не еду. Прощайте!

– То есть как это? – странным голосом проговорил предводитель, выдержав небольшую паузу, в течение которой медленно линяла улыбка на губах у Василия Ивановича, между тем как сидевшие на траве привстали и каменными глазами смотрели на него.

– А что? – пролепетал он. – Я здесь решил...

– Молчать! – вдруг со страшной силой заорал почтовый чиновник. – Опомнись, пьяная свинья!

– Пойдите, господа, – сказал предводитель, – одну минуточку, и, облизнувшись, он обратился к Василию Ивановичу:

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru

– Вы, должно быть, действительно, подвыпили, – сказал он спокойно. – Или сошли с ума. Вы совершаете с нами увеселительную поездку. Завтра по указанному маршруту – посмотрите у себя на билете – мы все возвращаемся в Берлин. Речи не может быть о том, чтобы кто-либо из нас – в данном случае вы – отказались продолжать совместный путь. Мы сегодня пели одну песню, – вспомните, что там было сказано. Теперь довольно! Собирайтесь, дети, мы идем дальше.

– Нас ждет пиво в Эвальде, – ласково сказал Шрам. – Пять часов поездом. Прогулки. Охотничий павильон. Угольные копи. Масса интересного.

– Я буду жаловаться, – завопил Василий Иванович. – Отдайте мне мой мешок. Я вправе остаться где желаю. Да ведь это какое-то приглашение на казнь, – будто добавил он, когда его подхватили под руки.

– Если нужно, мы вас понесем, – сказал предводитель, – но это вряд ли будет вам приятно. Я отвечаю за каждого из вас и каждого из вас доставлю назад живым или мертвым.

Увлекаемый, как в дикой сказке, по лесной дороге, зажатый, скрученный, Василий Иванович не мог даже обернуться и только чувствовал, как сияние за спиной удаляется, дробимое деревьями, и вот уже нет его, и кругом чернеет бездейственно ропшущая чаща. Как только сели в вагон, и поезд двинулся, его начали избивать, – били долго и довольно изошренно. Придумали, между прочим, буравить ему штопором ладонь, потом ступню. Почтовый чиновник, побывавший в России, соорудил из палки и ремня кнут, которым стал действовать, как черт, ловко. Молодчина! Остальные мужчины больше полагались на свои железные каблуки, а женщины пробавлялись щипками да пощечинами. Было превесело.

По возвращении в Берлин он побывал у меня. Очень изменился. Тихо сел, положив на колени руки. Рассказывал. Повторял без конца, что принужден отказаться от должности, умолял отпустить, говорил, что больше не может, что сил больше нет быть человеком. Я его отпустил, разумеется.

Примечания

1

В настоящий сборник включены стихотворения и рассказы, написанные В. В. Набоковым в разные годы. Их тексты и названия печатаются по первым прижизненным изданиям; в отдельных случаях – по первым публикациям в зарубежной периодике. Стихотворения размещены в порядке хронологии. Дата и место написания стихотворения принадлежат автору. В угловых скобках стоят даты, установленные либо уточненные известными зарубежными исследователями творчества Набокова – Брайеном Бойдом, Майклом Джулиаром и Эндрю Филдом, а также автором примечаний данного издания.

При жизни писателя вышли пять сборников его русских стихов: Гроздь (Берлин: Гамаюн, 1923); Горный путь (Берлин: Грани, 1923); Возвращение Чорба. Рассказы и стихи (Берлин: Слово, 1930); Стихотворения, 1929–1951 (Париж: Рифма, 1952); Poems and Problems (Стихи и шахматные задачи) (New-York – Toronto: McGraw-Hill, 1970). Набоковым был подготовлен итоговый сборник стихов, вышедший в 1979 году уже после его смерти.

Русские рассказы Набокова сгруппированы в трех книгах: Возвращение Чорба. Рассказы и стихи (Берлин: Слово, 1930); Соглядатай (Париж: Русские записки, 1938); «Весна в фиальте» и другие рассказы (Нью-Йорк: Издательство имени Чехова, 1956).

Здесь и далее – примечания Н. И. Толстой

2

..Ричард непобедимый/свободный Робин Гуд, туманный Ланцелот! – Ричард – герой романа английского писателя Вальтера Скотта (1771–1832) «Ричард Львиное Сердце», посвященного эпохе крестовых походов. Робин Гуд – герой английских народных

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
баллад, непревзойденный стрелок из лука, храбрец, защитник обездоленных.
Ланселот (Ланселот) – герой средневековых рыцарских романов о короле Артуре и рыцарях Круглого стола, поборник справедливости, защитник слабых и обиженных.

3

Ектенья – часть церковного богослужения, молитвенное прошение.

4

...городок наш изразцовый... – Имеется в виду Амстердам, где Петр I в 1697–1698 годах работал плотником на верфях.

5

Пасха – Стихотворение посвящено отцу, Владимиру Дмитриевичу Набокову, который был убит террористами 28 марта 1922 года в Берлине.

6

...Пушкин ясноглазый/беседует с другим поэтом... – Вероятно, имеется в виду Александр Блок (умер в 1921 году).

7

...сквозь траву двух несмежных могил... – Мать писателя Елена Ивановна Набокова умерла в Праге в 1939 году; отец – Владимир Дмитриевич Набоков похоронен в Тегеле, близ Берлина.

8

...Дом с колоннами... – Имеется в виду дом деда писателя со стороны матери в селе Рождествено под Петербургом.

9

...С колен поднимется Евгений... – Имеется в виду герой романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин».

10

Бранденбург (по названию немецкого города) – нашивка на петлице из золотой или серебряной тесьмы; род украшения.

11

Фридрих II (1712–1786) – прусский король.

12

Митенки – перчатки, в которых пальцы остаются открытыми.

13

«Эден» (нем.) – рай (эдем).

14

Здесь и далее автор передает русскую речь француженки, имитируя французское написание русских слов.

15

Punching-ball (пенчингбол) – подвесная груша (англ.).

16

...дерево, вырастающее от взгляда факира... – Индийские факиры в присутствии

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
зрителей сажали в землю семечко и поливали водой. Подвергшись массовому гипнозу,
зрители видели, как из земли вырастает дерево.

17

Бейте по оружию!.. Уходите от укола! (фр.) – фехтовальные термины.

18

...гантируя расправленную руку. – Гантируя – от ganter (фр.) – надевать перчатки.

19

...фисташковое парфэ... – от parfait (фр.) – прекрасный; вид мороженого.

20

Здесь: дуэль (фр.).

21

Югурт (турец.) – кислое молоко; род простокваши.

22

Каран д-Аш (1858–1909) – известный французский художник-карикатурист. Здесь
словесная игра: Каран д-Аш и Граф ИТ (карандаш и графит).

23

...В бою ли, в странствии, в волнах. Или соседняя долина... – цитата из
стихотворения А. С. Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»

24

...равнодушная газетная природа... – видоизмененная цитата из стихотворения А. С.
Пушкина «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»

25

Остановись, остановись, мгновение... – видоизмененная цитата из трагедии «Фауст»
И. В. Гете.

26

...знаменитый финский бегун... – Очевидно, имеется в виду Пааво Нурми (1897–1973) –
бегун на средние и дальние дистанции, двукратный олимпийский чемпион.

27

Что там за скандал? (искаж. нем.)

28

...путешествующий игумен... – Имеется в виду черниговский игумен Даниил (XII век),
первый русский паломник, оставивший описание Палестины.

29

...царский посланник заходит в страну, где люди гуляют под желтыми солнышками... –
Имеется в виду томский казак Иван Петлин, глава первой официальной миссии в
Китае (1618 год).

30

...тверской купец пробирается через густой женгель... – Имеемся в виду Афанасий
Никитин (умер в 1472 году), путешествовавший в Индию и проживший там около трех
лет; женгель (искаж. хинди) – лес, джунгли.

31

Берег (нем.).

32

Мерикюль и Гунгербург – курорты на берегу Нарвского залива; Гунгербург – современный город Усть-Нарва.

33

Bibliothèque Rose (фр.) – Розовая библиотека – собрание книг для детей и юношества, основанное в 1857 году французским издательством «Hachette». В России ей соответствовала Золотая библиотека.

34

Неправильное произношение французских слов gens (люди) и aout (август).

35

Grabuges (фр.) – ссоры.

36

«Вчера ходили в дилю». – Диля (искаж. нем. Diele) – танцевальный зал. Правильно – Tanzdiele.

37

Тантал – в греческой мифологии царь-злодей, славившийся своими богатствами. За преступления был осужден на вечные мучения: например, стоя по горло в воде, не мог напиться и тому подобное.

38

Раёк. – Здесь: радужная оболочка глаза.

39

Наш деревенский учитель (фр.).

40

...интересуется «лоб-норскими козявками»... – Лоб-нор (Лобнор) – соленое мелководное озеро на западе Китая.

41

Верный – название города Алма-Ата до 1921 года.

42

...он провел на кондиции под Тверью... – Кондиции – уроки учителя в частных домах.

43

...платье с бертами... – Берта – узкий воротничок, отделка на лифе дамского платья.

44

Шамони – горная долина во Франции.

45

Федченко А. П. (1844–1873) – русский зоолог-путешественник. Погиб на леднике неподалеку от Шамони.

46

Северцев (Северцов) Н. А. (1827–1885) – русский зоолог и путешественник. Погиб, попав в полынью.

47

Спик Дж. Х. (1827–1864) – английский путешественник, побывавший в Сомали и Восточной Африке. Погиб в результате несчастного случая на охоте.

48

Дюмон-Дюрвилль Ж. С. С. (1790–1842) – французский мореплавател и океанограф. Погиб при железнодорожной катастрофе.

49

Сын нашего деревенского учителя (фр.).

50

Посмотри на его руки (фр.).

51

...деспот пирует... – видоизмененная цитата из русской песни «Вы жертвою пали в борьбе роковой...», написанной в конце XIX века.

52

...«в солдатских мундирах»... – фраза из стихотворения Набокова «Поэты» (1939 год).

53

...с «посоленными щами», с тургеневской синелью... – Имеется в виду стихотворение в прозе И. С. Тургенева «Щи»; Набоков, по-видимому, обыгрывает название всего тургеневского цикла стихотворений в прозе – «Senilia» (лат. «Старческое»).

54

...в Mad'овских пиджаках... – Mad – художник-карикатурист, сотрудничавший в берлинской газете «Руль». Его персонажи отличались мешковато сидевшей на них одеждой.

55

Здравствуйте, мсье Вайс: здравствуйте, мсье Мейер (фр.).

56

«Карта». – Имеется в виду документ – вид на жительство (от франц. carte d'identite).

57

...«Мы слизь. Реченная есть ложь», – и дивное о румянном восклицании... – Искривленная цитата из стихотворения Ф. И. Тютчева «Silentium»: «Мысль изреченная есть ложь». Стихотворение Тютчева «Вчера в мечтах обвороженных...» оканчивается строками:

«Румяным, громким восклицаньем
Раскрыло шелк ресниц твоих!»

58

Скат – карточная игра при участии трех игроков.

59

Стихотворения, рассказы. Владимир Владимирович Набоков nabokovvladimir.ru
Лепизма – чешуйница, насекомое из отряда щетинохвостых, серебристого оттенка;
предпочитает влажные и теплые места.

60 ...высилась прямо из дактиля в дактиль... – Дактиль – стихотворный метр,
состоящий из трехсложных стоп с ударением на первом слоге. Здесь: облако, озеро.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://nabokovvladimir.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы,
недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет
магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных
сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!